

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Уральского отделения
Российской академии наук

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 17

Выпуск 3

Екатеринбург – 2017

Главный редактор

Виктор РУДЕНКО, директор Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф.

Заместители главного редактора

Философия, политическая наука: **Виктор МАРТЬЯНОВ**, заместитель директора по научной работе Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. полит. наук, доц.

Право: **Валентина ЭМИХ**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук

Международный редакционный совет

Алексей АВТОНОМОВ, директор Центра сравнительного права НИУ – Высшая школа экономики (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Хоаким Х. АЛАРКОН**, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Армандо С. ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания) д-р права, д-р полит. наук; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Ольга МАЛИНОВА**, проф. МГИМО-Университета, (Москва, Россия) д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Юрий ПИВОВАРОВ**, научный руководитель ИНИОН РАН (Москва, Россия), академик РАН, д-р полит. наук, проф.; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

Редакционная коллегия

Философия: **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, зав. кафедрой философии и политологии Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук.

Политическая наука: **Олег ПОДВИНЦЕВ**, зав. отделом политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.

Право: **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, профессор Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Павел КРАШЕНИННИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д. юрид. н., проф.; **Наталья ФИЛИППОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), «КиберЛенинку», базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI), а также входит в международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS.

Учредитель

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Издается с 1999 г. Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России». Т. 1. «Газеты и журналы» 43669. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации

ПИ № ФС77-29547 от 14 сентября 2007 г.

ISSN 1818-0566 (Print); ISSN 2312-5128 (Online)

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: admin@instlaw.uran.ru

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>

**INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

**RESEARCH YEARBOOK
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences**

Volume 17

Issue 3

Ekaterinburg 2017

Editor-in-chief

Viktor RUDENKO – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Deputy Editor-in-chief

Viktor MARTYANOV – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Valentina EMIKH – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

International Editorial Council

Alexei AVTONOMOV – Center for Comparative Law, Higher School of Economics (Moscow, Russia);

Joaquin H. ALARCON – University of Murcia (Murcia, Spain);

Armando S. DURAN – University of San Pablo (San Pablo, Spain);

Alexander KOKOTOV – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia);

Vladislav LEKTORSKY – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);

Olga MALINOVA – MGIMO University (Moscow, Russia);

Mikhail MALYSHEV – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico);

Yuri PIVOVAROV – Institute of Scientific Information on Social Sciences, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);

Thomas REMINGTON – Emory University (Atlanta, USA);

Cameron ROSS – University of Dundee (Dundee, UK);

Richard SAKWA – University of Kent (Kent, UK);

Saskia SASSEN – Columbia University (New York, USA);

Carole SIGMAN – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center for Scientific Research (Paris, France).

Editorial Board

Vladimir DIYEV – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia);

Yuri ERSHOV – Ural Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Ekaterinburg, Russia);

Elena STEPANOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Elena TRUBINA – Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia).

Oleg PODVINTSEV – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Perm, Russia);

Olga POPOVA – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);

Sergey POCELUEV – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia);

Olga RUSAKOVA – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia).

Oleg ZAZNAEV – Kazan Federal University (Kazan, Russia);

Mikhail KAZANTSEV – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia);

Sergey KODAN – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia);

Pavel KRASHENINNIKOV – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Natalia FILIPPOVA – Surgut State University (Surgut, Russia).

The journal is recommended by the Russian Ministry of Education and Science for publication of scientific results of doctorate theses. It is indexed and referenced in RSCI, Ulrich's Periodicals Directory; Open Academic Journals Index (OAJI); International Impact Factor Services (IIFS); ERIH PLUS; it is included to the RSCI database on the Web of Science platform.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

Соловий Р.П. Теопозитика и теополитика Джона Капуто7

Демин И.В. Критика историзма
в философской концепции Лео Штрауса22

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

Фишман Л.Г. Российская государственность:
в тени отсроченной революции?.....37

Мельников К.В. Неопатримониализм
в контексте типологии политических режимов.....51

ПРАВО

Корсаков К.В. Криминологический и уголовно-правовой анализ
современной организованной преступности67

Савоськин А.В. «Обращения граждан» как правовая категория85

C O N T E N T S

PHILOSOPHY

- R. Soloviy.** John Caputo's theopoetics and theopolitics7
I. Demin. Critique of historicism in Leo Strauss's political philosophy22

POLITICAL SCIENCE

- L. Fishman.** Russian statehood: in shadow of delayed revolution?37
K. Melnikov. Neopatrimonialism
in the context of political regimes' typology51

LAW

- K. Korsakov.** Criminological and criminal-legal analysis
of contemporary organized crime67
A. Savoskin. Citizen's appeal as legal category85

ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY



Соловий Р.П. Теопозитика и теополитика Джона Капуто // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3, с. 7–21.

УДК 1(091)

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.721

ТЕОПОЭТИКА И ТЕОПОЛИТИКА ДЖОНА КАПУТО

Роман Павлович Соловий

доктор философских наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Национального педагогического университета
им. М.П. Драгоманова, г. Львов.
E-mail: r.p.soloviy@npu.edu.ua

Материал поступил в редколлегию 05.08.2016 г.

Статья посвящена выяснению философских и богословских предпосылок и характерных особенностей теопозитической интерпретации Божественного в эпоху постмодерна, специфика которой состоит в замене поэтической чувствительностью к Божественному традиционной прозаической теологии с присущими ее интеллектуализмом, сциентизмом и вытеснением символов. На примере «слабого богословия» американского философа религии Джона Капуто автор осмысливает, как в условиях провозглашенного отсутствия фиксированного доступа человека к знанию или вере все же возможно говорить о Боге содержательным и уместным для постсовременного человека образом. Теопозитика Капуто является важным компонентом его проекта «слабого богословия», которое рассматривает Бога не как всеильную личность или основание бытия, а как «слабую силу», лишенную традиционных метафизических атрибутов власти, силы и иерархии, незащищенную от риска и неопределенности. «Слабое богословие» стремится оставаться открытым «к самим вещам», то есть к тому, что составляет предельную заботу человека и не может быть сведено к точности утверждений объективирующего мышления. Соответственно Капуто понимает

религию не как образное выражение метафизической субстанции или духа, но как способ поэтизировать то, что М. Хайдеггер, Ж. Деррида, и Ж. Делез называют событием. Также в данной статье проанализированы возможные последствия теопоэтической перспективы для становления новой политической теологии и поиска актуальных путей политической ангажированности христиан. В статье прослеживается, как консеквентная деконструкция идеи суверенного Бога, «приспособленного» в качестве одной из опор идеологии и практики политического насилия, влечет и деконструкцию самих репрессивных политических систем.

Ключевые слова: Джон Капуто, деконструкция, теопоэтика, теополитика, «слабое богословие», событие Бога.

В период постмодерна теологическая мысль, пережив неоднократные провозглашения «смерти Бога» и «конца религии», настойчиво пытается осмыслить возможности дальнейшего разговора о Боге без традиционных метафизических постулатов. Согласно М. Хайдеггеру, онтологическое мышление превратило теологию в спекулятивную рационалистическую дисциплину, которая больше не основывается на базовых интуициях откровения. Хайдеггер призвал теологию выйти за рамки онтологической к постметафизическому пониманию Бога. Его критика онтологической была использована многими континентальными философами и богословами, в частности Марком Тейлором, Джанни Ваттимо, Жан-Люком Марионом, Кевином Хартом, Карлом Рашке, Джоном Капуто и Меролдом Вестфалом. Эти мыслители разрабатывали свои проекты, исходя из убеждения, что традиционный метафизический язык, который определяет Бога как Высшее Существо или основание для морали, является неуместным для того, чтобы говорить о божественном. Метафизика мыслит о Боге в терминах причины, основания или источника и неизбежно приводит к онтологической. Поэтому предпринимаются все новые попытки разработать такую теологическую парадигму, которая отказывается представлять Бога в традиционных метафизических категориях. Одним из таких альтернативных путей развития стала теопоэтическая теология, которая сформировалась во второй половине XX в. Ее особенность заключается в культивировании поэтической чувствительности к божественному, которая делает возможным появление новых неожиданных смыслов религиозной жизни. Значительный интерес в этом контексте вызывает философская теология Джона Капуто, предлагающего мыслить о Боге как об особом событии и призыве к справедливости, с которым имя Бога обращается к человеку. Актуальность изучения теопоэтики Капуто обусловлена ее творческим инновационным характером и существенными политическими выводами.

Основоположником теопоэтического богословия принято считать американского христианского мыслителя Стэнли Хоппера. В 1971 г. на ежегодной встрече Американской академии религии он прочитал лекцию на тему «Литературное воображение и практика богословия», в которой впервые использовал термин «теопоэтика» [Keefe-Perry 2014: 2]. В лекции он отметил, что в настоящее время человечество находится в состоянии пересмотра традиционного способа мышления. В связи с этим остро встает

вопрос не просто о формировании новой релевантной теологии, а о том, имеет ли вообще какие-то перспективы теология, сохраняющая лояльность традиционной методологии. Для того чтобы теология осталась дисциплиной, которой стоит заниматься, христиане должны заново открыть для себя ценность мифо-поэтической интерпретации реальности, развивая тео-поэтическую перспективу божественного, которой предстоит заменить традиционный прозаический тео-логический подход с его существенными недостатками – постепенным «овеществлением» доктрины, вытеснением мифа и символов, сведением тайны к знанию.

В противоположность теологической парадигме Хоппер предлагает восстановить акцент на интерпретативном и литературном дискурсе, что позволит защитить богословие от засилья теоретизирования, абстракций и обобщений. Таким образом, становится возможным освобождение опыта от устаревших методологических стратегий и пропозиционального мышления для нового и более глубокого переживания божественного. Для развития теопоэтического дискурса, подчеркивал Хоппер, теологии следует сначала сделать шаг назад, то есть отойти от метафизических основ традиционного западного мышления с присущими ему интеллектуализмом, буквализмом и супранатурализмом. После этого теология должна сделать шаг вперед – ре-поэтизировать существование человека, начать смотреть на него с глубоко поэтической перспективы.

Идеи теопоэтического богословия в 1970–1980-е гг. продолжали развивать последователи Хоппера, в частности Дэвид Миллер и Амос Уайлдер. Миллер предлагал рассматривать теопоэтику в контексте теологии смерти Бога, которая громко заявила о себе в 1960–1970-е гг. [Miller 2010]. Он подчеркивал, что, в отличие от *теопоэзии* как поэтизированного способа говорить о традиционных богословских доктринах, *теопоэтика* – это не просто внешнее использование поэтической риторики, поэтизация имеющейся религиозной веры или теологического знания, а рефлексия о *poiesis*, формальное мышление о природе образования смысла, разрушающее теологию. Иными словами, теопоэтика – это попытка заменить нежизнеспособную сциентистскую теологию и метафизику поэтической чувствительностью как единственной возможностью говорить о Боге после «смерти Бога», то есть после утраты любой связи с трансцендентальными референтами мысли, а также при отсутствии фиксированного и наделенного авторитетом доступа человека к источнику знания или веры. Новая радикальная поэтика характеризуется следующими чертами: отсутствием автора, то есть отрицанием (в духе «смерти автора» Ролана Барта) возможности определения истинного источника сигнификации в тексте, отказом от авторства и авторитета теолога; отрицанием содержания традиционных смыслов; отменой порядка – радикальная теопоэтика воспринимает религию как комплексное явление, в котором присутствуют как упорядочивающие, так и дезорганизующие мотивы; бесконечной открытостью для появления новых неожиданных смыслов.

Несмотря на инновационный характер теопоэтического подхода, до начала 1990-х гг. он в основном оставался в фокусе внимания исследователей

герменевтики, не оказывая значительного влияния на теологический дискурс. Ситуация существенно изменилась в 1990-х и 2000-х гг., когда идеи теопозтики стали применять новые авторы в новых сферах знания. В частности, философ Джон Капуто начал разрабатывать проблематику взаимосвязи теопозтики, теологии и политики, исследователь процессуальной теологии Роланд Фейбер обратился к образу Бога как поэта мира, Катрин Келлер развила экологическую теопозтику, а постмодернистский философ и теолог Петер Роллинз призвал в мышлении о Боге перейти от теологоса к теопозтике.

Один из наиболее радикальных и целостных проектов теопозтической теологии предложил американский философ религии Джон Капуто, известный в континентальной мысли начала XXI в. прежде всего как основатель «слабого богословия» и «богословия события». В многочисленных трудах он развивает собственную версию герменевтики имени Бога, которая раскрывает Творца не как всемогущую личность или основание бытия, а как особое событие, призыв к будущему. Поскольку интерпретация «события» как пришествия Иного из будущего, которое нельзя предсказать, запрограммировать или определить с помощью настоящего, носит очевидно деконструктивный характер, естественно, что в толковании Бога Капуто отказывается от традиционных богословских категорий власти, силы, иерархии и контроля. Он уходит от «сильного» метафизического богословия, предпочитая мышление о Боге как о «слабой силе», которая открывает себя для риска и неопределенности существования в качестве призыва, который может быть проигнорирован, обетования, которое может быть отвергнуто, любви, которую можно пренебрежительно оттолкнуть. Для сильного богословия, образовавшегося в результате взаимодействия раннего христианства с греческой философией, присущ классический философский подход, заключающийся в формулировке системы пропозициональных утверждений. Его логос выражается в предикативных утверждениях, с помощью которых Бог получает определение в образе носителя комплекса определенных концептуальных свойств, известных в классической теологии как атрибуты Бога. Собранные вместе с помощью средств классической логики, эти атрибуты, по замыслу, должны создать целостную картину существования и природы Бога.

«Слабое богословие» отказывается от претензий на выдвигание утверждений, пытаясь, по совету Хайдеггера, быть открытым к «самим вещам», то есть к тому, что составляет нашу глубочайшую заботу и не может быть выражено точными формулировками и утверждениями объективирующего мышления. Как отмечает Капуто, тематизация и объективация должны занимать надлежащее место в богословских исследованиях, но они слишком «грубые и неотесанные» инструменты, когда речь идет о первичном, доконцептуальном контакте с особым бытием-в-мире, названным в Писании Царством Божиим. По этой причине само Писание систематически избегает дискурса объективации и концептуализации, используя язык притч, метафор и парадоксов. Цель «слабого богословия» – не навязывать свои определения событиям, а поддерживать первичный контакт с миром, сохранять ненасильственную, недогматическую и гибкую модальность,

которая позволяет миру выразить себя в словах. Для этого необходимо целенаправленно противостоять искушению предоставить своему опыту мира постоянные, фиксированные и канонические определения, развивая вместо теологического теопозитический подход. Заметим, что под поэтикой Капуто подразумевает *poiesis* – особый дискурс, сочетание парадоксов, метафор, нарративов, притч и молитв, которые помогают открыться содержанию события, известного нам под именем Бога.

Согласно терминологии Капуто, существует два основных вида теологии – *конфессиональная* и *радикальная*, причем вторая неизбежно вытесняет и ограничивает первую. Для того чтобы понять, почему так происходит, нужно учитывать различие между религиозными субъектами (англ. *religious actors*) и теологической рефлексией. Субъекты действуют на первом уровне религиозных верований и практик, то есть на уровне культовых и этических норм, а также базовых доктринальных утверждений, символов веры, цель которых – углубить чувство принадлежности субъектов к религиозному сообществу, подчеркнуть их идентичность [Caputo 2013: 126]. Однако нечеткость и расплывчатость популярных верований требуют теологической рефлексии, которая является религиозной деятельностью второго уровня. Теология концептуализирует верования сообщества, упорядочивает его практики, подвергает священные тексты критическому прочтению и определяет основные правила их интерпретации. Однако теология не обладает односторонней властью, потому что каждая конфессиональная теологическая рефлексия должна получить признание со стороны сообщества, традиции которого она отражает. Таким образом, конфессиональная теологическая рефлексия является локальным процессом, происходящим в рамках конкретного сообщества.

Однако это не единственный вид теологической рефлексии, рядом с ним возникает другая рефлексия, не связанная подотчетностью конфессиональной традиции и поэтому способная на более свободный образ вопрошания. Эту теологию, которая не ищет аутентификации со стороны конфессиональной общины, а может свободно задавать любые вопросы, Капуто определяет как радикальную. Ее первой исторической формой была «рациональная теология» модерна, в частности попытки библейской критики у Спинозы и анализ Кантом религии в пределах одного только разума. В постмодернистскую эпоху недоверия к классической метафизике Капуто предлагает новую форму радикальной теологии – не рационалистическую и трансцендентальную, а герменевтическую, такую, которая основывается на принципе универсального гостеприимства, открытую для обсуждения всех тем со всеми заинтересованными сторонами и способную ставить под сомнение собственные предпосылки. Постмодернистская теология отказывается от претензий на возможность определения единой универсальной основы, стоящей за историческими или конфессиональными особенностями религиозных традиций, она признает множественность сингулярностей, которые невозможно свести к единому универсальному источнику.

Как взаимодействуют между собой конфессиональная и радикальная теологии? Капуто отвечает, что, поскольку в действительности мы можем

говорить о существовании только конфессиональной теологии, которая имеет дело с конкретными историческими традициями, верованиями и практиками, радикальной теологии следует остерегаться опасности превратиться в монолог о несуществующих концептуальных конструкциях. Поэтому она должна выстроить определенную форму критического взаимодействия с теологией конфессиональной. Это взаимодействие будет иметь двойственные результаты. Прежде всего, оно вызовет смещение и размывание границ, действуя как призрак или дух. Не стоит рассматривать радикальную теологию в качестве конкурента конфессиональной – ее цель не заключается в создании альтернативного набора верований. Для нее является более важным повлиять не на «что» конфессиональных традиций (их предметное, доктринальное содержание), а на их «как» (способ восприятия мира); ее интенция – выявить историческую контингентность и многообразие конфессий, побуждая религиозных субъектов подумать о том, в какой мере унаследованные ими религиозные взгляды исторически обусловлены, и о том, что они являются скорее результатом определенных жизненных обстоятельств, чем даром свыше. Таким образом, раскрывается локальное и мифическое содержание сущности конфессиональных теологий. Радикальная теология помогает религиозным субъектам дистанцироваться от собственных убеждений и практик, научиться с определенной долей иронии рассматривать их как результат исторического развития, осознавая, что если бы они, их носители, родились в другое время и в другом месте, то «пели б песни другим богам и прислушались бы к другим локальным рассказам» [Caputo 2013: 130].

Хотя первое направление влияния радикальной теологии является критическим и в известной степени провокационным, ее действие не ограничивается отрицанием. По своей сути радикальная теология аффирмативна и конструктивна, однако она утверждает не конфессиональные убеждения (фр. *croiances*) и практики, а глубокую веру (фр. *foi*) в то, что включает в себя событие имени Бога [Derrida 1998]. Концепт события – один из основополагающих в теологии Капуто. События имеют две основные характеристики: во-первых, мы не можем увидеть их наступление, во-вторых, события – это не то, что происходит, а то, что совершается в том, что происходит. Пользуясь языком Делеза, Капуто указывает, что события требуют и настаивают (англ. *insist*), а не существуют (англ. *exist*). Таким образом, то, что происходит и на самом деле существует, относится к сфере религии, конкретных конфессиональных сообществ и культурно-исторических традиций. Сюда причисляются как религиозные убеждения и практики, так и их теологическая рефлексия, благодаря которой они получают концептуальную артикуляцию. Конфессиональная теологическая рефлексия остается в рамках конституированной традиции, в то время как радикальная теология пытается мыслить о событии, которое конституирует религиозные традиции.

Чтобы проиллюстрировать природу события, Капуто обращается к идее Дерриды о «желании за пределами желания» [Derrida 1992: 30], различая *два порядка желания*: осознанное желание чего-то определенного, то есть желание, которое имеет собственное название, и «желание за предела-

ми желания». Второе не имеет собственного имени, ему неизвестен предмет желания, ведь в желании всегда что-то еще должно наступить, поэтому ему следует быть радикально открытым к будущему. Желания первого порядка направлены на что-то сформировавшееся и устоявшееся, «желание за пределами желания» вызывается событием, конституирует и формирует объекты желания первого порядка. Капуто вслед за Деррида подчеркивает невозможность дать определение событию, схватить и зафиксировать то, что всегда содержит в себе обетование чего-то большего. Одним из самых известных примеров взаимодействия двух порядков желания, приведенных Деррида, является понятие демократии, которое невозможно отождествить с устройством конкретного демократического государства. Так как демократия – это не существующее положение вещей, а обещание того, что сохранится в этом слове, то она всегда еще должна наступить (фр. *à venir*). При этом речь идет не о том, что через какой-то отрезок времени в будущем на самом деле наступит идеальная демократия. В деконструкции *à venir* – это не предсказания будущего, а требование, острая потребность, тяготеющая над современным положением вещей, заставляющая его дрожать от чувства незащищенности и отвечать на призыв демократии, приближая реальность к обетованию. Таким образом, происходит бесконечная деконструкция реальности в свете радикального недовольства, вызванного обещанием того, что должно наступить, то есть события.

Как отмечает Капуто, в любом конечном смысле, поддающемся определению, содержится то, что он не может вместить, что является источником инфинитивного недовольства. Когда этот подход применяется в сфере теологии, мы можем увидеть, что конкретные конфессиональные традиции являются сообществами желания первого порядка. В них инфинитивное событие свернулось, сузилось до уровня конечного исторического содержания, имеет собственное имя и неразрывно встроено в ткань культуры. Это означает, что конфессиональным традициям присуща встроенная тенденция замыкаться и противостоять именованному (тому, что не может быть названо) и бесконечному, тому, что их внутренне тревожит. Радикальная теология заинтересована в более глубокой вере в то, что обещано в событиях, которым угрожает опасность закрыться в конфессиональной теологии. Это означает, что события характеризуются определенным избытком или неисчерпаемостью и, таким образом, не поддаются деконструкции. В теологии подобным событием, не подлежащим деконструкции, является имя Бога.

Согласно Капуто, поворотной фигурой в генеалогии радикальной теологии и теопозитики является Г.В.Ф. Гегель. Именно он поставил под сомнение традиционное для классической теологии дуалистическое противопоставление Бога и мира, разума и откровения, заменив их феноменологией Духа и мира. Однако при этом сам Гегель не достиг значительного прогресса в теопозитике, оставаясь в рамках феноменологического подхода, тесно связанного с логикой классического богословия. По этой причине, как полагает Капуто, настоящая теопозитика возможна только при условии замены гегелевского понятия *абсолютного знания* поэтикой события. Иначе говоря,

теопозитику можно рассматривать как своего рода «еретическое гегельянство». Заслуга Гегеля заключается в том, что он отказался от двухчастной мифической архитектуры мира, унаследованной христианством от греческой философии. Учение о мире земном, который существует во времени и пространстве, и мире вечности и пребывания Бога, существующем вне времени и пространства, отмечает Капуто, проистекает из неоплатонизма и было заимствовано христианским богословием благодаря творчеству Августина [Caputo 2014: 509]. В философии Гегеля Бог уже не существует за пределами этого мира, он является не бытием вне мира, но бытием самого мира, почвой, с которой бытие мира начинается и которой оно заканчивается. На место традиционного для христианства двухчастного деления мира Гегель предлагает то, что на языке Делеза можно назвать *плоскостью имманентности*, в которой все возможные различия касаются степеней, градаций интенсивности и этапов становления. В результате божественное откровение приобретает мирское, посюстороннее значение. Мир уже не распадается на время и вечность, бытие больше не выступает на естественном и сверхъестественном уровнях, знание не разделяется между разумом и откровением. Теперь откровение рассматривается как стадия нашего опыта познания истины, момент перехода от чувственного через образное к концептуальному пониманию истины.

Кроме этого, Гегель впервые предложил новый анализ христианской теологии, иную парадигму философии религии, сформулировав идею религиозной истины, ставшую предшественником теологии события и, соответственно, теопозитики. До Гегеля разграничение, которое Капуто проводит между конфессиональной и радикальной теологиями, истолковывалось как разграничение между «богооткровенной» (*theologia relevata*) и «рациональной» (*theologia rationalis*) теологиями, каждая из которых притязала на доступ к соответствующему аспекту истины. «Богооткровенная» *theologia sacra* имела дело с истинами, недоступными для человеческого разума без посторонней помощи, в частности с догматами о Троице и Воплощении, в то время как сфера действия рациональной теологии распространялась на сравнительно небольшое количество истин, которые можно было понять с помощью одного разума. В частности, речь идет о доказательствах существования Бога, бессмертия души и решении проблемы зла. Эти рационалистические эксцессы подверглись известной критике со стороны Канта, предложившего свою версию «радикальной теологии», которая полагает источником религии один только разум, точнее, практический разум и нравственный закон. В итоге Кант определял Бога как необходимый постулат практического, то есть нравственного, разума и сводил христианство почти исключительно к этическому измерению, рассматривая другие стороны религиозной жизни как предрассудки.

Гегель придерживался другой точки зрения. Его интересовали именно те аспекты религиозного сознания, которые рациональная теология оставляла без внимания – учение о Троице, боговоплощении, распятии, воскресении, вознесении. В «Феноменологии духа» немецкий философ рассматривал эти христианские истины как проявление *Vorstellung* –

метафорического или образного мышления, которое нужно отличать от чистого или абсолютного мышления философии, в котором те же истины рефлексивно постигаются в отвлеченной форме. Религиозное сознание не тождественно эстетическому прежде всего в том, что мыслит Абсолют, но в то же время, в отличие от философского сознания, оно делает это не в форме чистого понятийного мышления, а сочетая воображение и мышление в образности *Vorstellung*. К примеру, истина о том, что логическая идея объективируется в природе, в религиозном сознании выступает в форме образного понятия сотворения мира трансцендентным Богом. Или истина о том, что конечный дух есть лишь момент жизни бесконечного духа, схватывается в форме учения о единстве с Богом, которое достигается через воплощение Христа. Для Гегеля эти истины тождественны по содержанию, но по-разному постигаются в религии и философии: концептуальная форма философии имеет дело с Богом в более развитом виде, чем образно-репрезентативная форма религиозного познания.

Таким образом, как подчеркивает Капуто, христианство следует рассматривать не как проявление чего-то сверхъестественного, а как поэтическое, образное представление реальности. Сила и влияние христианства обусловлены не его божественным происхождением, а созданием дееспособной формы жизни в конкретную историческую эпоху. Поэтому Гегель рассматривал все теологические концепции философов рационализма как бесплодные и поверхностные упражнения рассудка (*Verstand*), односторонние формальные толкования религии, оставляющее без внимания существенное, дух христианства и его силу откровения. Поскольку христианство является религией откровения, полным постижением завершенной истины (носителями которой были основные христианские догматы), христианские образные формы, текстовые аллюзии, художественные повествования, богословские лейтмотивы и рассказы о чудесных событиях на самом деле скрывают истинный концептуальный смысл.

Подчеркивая важность философии религии Гегеля для становления своей теологии, Капуто все же указывает, что его собственный философско-теологический проект можно определить как постмодернистское «еретическое гегельянство». Его главной особенностью является категорический отказ от каких-либо постулатов идеалистической метафизики, то есть от концептов абсолютного знания или Абсолютного духа. По мнению Капуто, религия – это *Vorstellung*, представление, не имеющее концептуального содержания, это образ, который не допускает никакого метафизического разъяснения. Именно поэтому единственной адекватной формой интерпретации религии выступает теопоэтика, которая находится посередине между эстетикой (искусство) и логикой (философия).

Вслед за Гегелем Капуто отмечает, что откровение не является сверхъестественным вмешательством из другого мира, которое прерывает привычный ход истории и природного бытия, открывая миру то, что сам он не способен познать. Откровение совершается «за пределами разума», но не потому, что оно превышает все человеческие способности, а потому, что превосходит умственную способность другими способами, в частности

воображением. Оно ускользает из рамок формально-логического мышления, открывая мир иным, более необычным и допонятийным способом. Другими словами, откровение не прорывается к нам из другого мира, а выступает той формой, в которой мир сам раскрывает нам себя непредсказуемым и неожиданным образом.

Капуто пишет, что откровение является событием «открытия невозможного», наступление которого мы не можем увидеть. В качестве примера события откровения он предлагает рассматривать Нагорную проповедь Христа, сила которой заключается «не в том, что она является сверхъестественным откровением, переданным небесным существом, которое сошло с небес, предлагая такое объяснение вещей, которое находится за пределами знаний человечества» [Caputo 2013: 138]. Нагорная проповедь находится «вне досягаемости ума» в том смысле, что она лежит вне круга его «логики», раскрывая понимание жизни, основанное на «правиле Бога», радикально отличном от логических основ экономики. Предлагая новое представление о человеческой жизни, эта проповедь относится не к сфере концептуальности логики, а к сфере открытости поэтики. Под поэтикой Капуто подразумевает не просто эстетическое прочтение традиционных верований или практик. Это сложный набор дискурсивных стратегий и практик, творческое воплощение (*poiesis*) неименованной веры, которая должна наступить. В поэтической теологии Капуто сочетаются афористичность и анархичность дерридианского *difference* с чувственно-образной формой постижения истины гегелевского *Vorstellung*, – представления толкуемого не как онтологическая реальность, а как «жизненный мир», то есть форма жизни, которая раскрывается в событии откровения.

Таким образом, Капуто трактует религию не как образное выражение метафизической субстанции или духа, но как способ поэтизировать то, что несколько континентальных философов (М. Хайдеггер, Ж. Деррида и Ж. Делез) называют событием. Теопоэтика касается комплекса событий, которые содержатся в имени Бога. Не существует единого языка, на котором это имя выражает себя. Как было бы ошибкой пытаться выяснить, который из языков является истинным, так не имеет смысла и ставить вопрос об истинности конкретной религиозной традиции. Религии отличаются между собой подобно тому, как отличаются способы бытия в мире и формы жизни, в контексте которых они возникли.

В теопоэтике Капуто *poesis* заменяет *logos* теологии, поскольку логос предусматривает такое мышление, которое руководствуется разделением между Богом и людьми или Богом и миром. Поэтика же является творческим дискурсом о хиазме между Божьим настойчивым призывом и нашим существованием. Другими словами, мы находимся во взаимозависимой связи с Богом. Он не существует, но мы существуем. Бог может только настаивать, ведь он лишь зов Иного, перед которым мы несем ответственность, заключающуюся в том, чтобы предоставить фактическое существование для события, которое содержится в имени Бога. Поэтому Капуто предлагает пост-онтологический религиозный дискурс, в котором Бог больше не является «бытием», а тем более высшим существом. За настоящим и зовом

Бога нет никакого бытия. Бог не есть существо, которое обращается с призывом, это только имя, которое дает ему убежище.

Теопозитический богословский регистр Капуто имеет радикальные последствия для его политической теологии. В своих трудах он последовательно рассматривает Царство Божье как политически акцентированную концепцию. В частности, в работе «Что бы деконструировал Иисус?» (2007) мы встречаем обоснование необходимости трансляции идей теопозитики в сферу политики. Согласно Капуто, «...мы призваны представить Царство Божие в политических структурах современности, а это требует политического воображения и суждения. Царство обеспечивает *politica negativa*, критический голос, подобный голосу пророка против царя...» [Caputo 2007: 87]. В совместной с Кэтрин Келлер статье «Теопозитика/теополитика» (2007) Капуто подчеркивает, что осознанно или нет, но каждый политический порядок должен иметь богословские корни. Упорядочивая политическое пространство, мы неизбежно думаем о Боге, ведь мышление не может изолировать себя от события, которое призывает нас под именем Бога. Это означает, что мышление всегда является определенной протоверой и архитеологией, какими бы при этом ни были наши личные убеждения [Caputo, Keller 2007: 105]. По этой причине обновление политического порядка непременно требует переосмысления теологических предпосылок.

Отталкиваясь от этих соображений, Капуто стремится сформулировать целостное политическое видение. Его политическая программа включает в себя милосердие и сострадание, заботу о незащищенных и гостеприимство к чужакам, прощение и щедрость. Теополитика Капуто прежде всего предусматривает деконструкцию понятия *суверенитета*, с которым традиционно связано имя Бога. Признавая, что ни одно имя так прочно не коррелирует с представлением о неограниченной силе и власти, как имя Бога, Создателя и Господа Вселенной, философ напоминает о многочисленных примерах, когда мышление о Боге в рамках понятия суверенитета воплощалось в тиранию, терроризм, женоненавистничество, колониализм, инквизицию и другие яркие проявления политической несправедливости. В качестве альтернативы Капуто предлагает образ Бога как «слабой силы, претендующей на нас безоговорочно, но не имеющей никакой армии, чтобы настаивать на своих претензиях» [Caputo 2006: 33]. Таким образом, Капуто пытается деконструировать консервативную онто-теополитическую концепцию Бога как всемогущего бытия, которое господствует над миром, и развивает вместо этого постмодернистское понимание Бога как слабой силы. Такой Бог не приводит человека в состояние страха своими «травматологическими интервенциями», а обращается к нему с бессильным призывом. Как слабая сила Бог не обладает всемогуществом, чтобы контролировать свой призыв или даже влиять на него. Бог теопозитики – не суверен, а безусловный настоятельный призыв к невозможному событию справедливости.

В своем первом, откровенно теологическом, труде «Слабость Бога» (2006) Капуто последовательно создает образ Бога как лишенного суверенной власти события и слабой силы. Он подчеркивает, что сила Бога не имеет метафизической природы, это абсолютное благословение и

аффирмация доброты жизни, «безусловная, непрерывная сила Божьего “да”» [Caputo 2006: 90]. Сила Бога не имеет ничего общего с доминированием и угнетением. Она «призывная, провокационная, притягательная и воспитательная, заманчивая и обольстительная» [Caputo 2006: 33]. Ее сущность – не приказ, а зов, обетование и надежда. Утверждая, что Царство Божье не строится на принципе суверенности, Капуто часто обращается к анархической терминологии. В частности, он определяет Царство Божье как зону влияния анархических сил, приведенных в действие святым беспорядком, беззаконностью, неуправляемостью, составляющими сущность поэтики справедливости, прощения и милосердия.

Деконструируя стандартные богословские понятия Бога как суверенного Властелина вселенной, Капуто также стремится разрушить привычное политическое понимание суверенитета. Пытаясь установить корреляцию между поэтическим учением Иисуса и критикой концепции политического суверенитета, он подчеркивает: «Опасная память о распятом теле Иисуса представляет угрозу для мира, организованного вокруг катастрофической концепции власти, того, что сегодня находит свое отражение в широко распространенной критике концепции “суверенитета” – суверенитета автономных субъектов и суверенитета наций, мощных в достаточной мере, чтобы остаться безнаказанными за односторонние действия в своих собственных интересах» [Caputo 2007: 88]. Таким образом, формулируется прямая связь между деконструкцией идеи суверенного Бога, которая поддерживает идеологию и политику насилия, и деконструкцией собственно насильственных политических систем.

Но что на самом деле Капуто предлагает в качестве пути, альтернативного политической ангажированности? К сожалению, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что фактические политические интенции Капуто не совпадают с его риторикой. Особенно заметно это выявляет его анализ теории справедливой войны в книге «Что бы деконструировал Иисус?». Капуто начинает свои рассуждения, не только утверждая, что Иисус был пацифистом, но и акцентируя, что пацифизм занимает центральное место в учении Иисуса, недвусмысленно призывавшего практиковать ненасилие и любить врагов. Он закономерно определяет теорию справедливой войны Августина, не воспринимающего всерьез однозначный призыв Иисуса к миру, как попытку компромисса, который является, по сути, «отречением от веры, трактовкой безусловного мира и прощения как просто невозможного» [Caputo 2007: 100]. Кроме того, Капуто утверждает, что пацифизм не отрицает возможности морального гнева и праведного протеста против лицемерия и несправедливости. Однако после этих ремарок он неожиданно поддерживает теорию справедливой войны, противопоставляя ее действительной политической реализации пацифизма. Он признает, что не верит в возможность воплощения поэтического и пророческого видения Иисуса в конкретном политическом контексте. Предпочитая принцип «меньшего зла» теории «справедливой войны», Капуто констатирует, что противостояние злу иногда требует жесткого отпора, а насилие бывает необходимым как действие последней инстанции.

Подтверждая оправданность теории справедливой войны, Капуто отмечает, что она всегда должна реализовываться с учетом безусловного пацифизма Нового Завета. Поэтому сущность теопозитического подхода к политике можно определить как утверждение пацифистского идеала Иисуса в роли определяющего мотива политики. Однако при этом Капуто дает понять, что его радикальную политическую риторику не следует понимать буквально. Гипер-реальность Царства Божия никогда не может быть по-настоящему соединиться с современными политическими структурами. Теопозитика просто обеспечивает «контекст» и «дух» для либерального демократического политического подхода. Таким образом, Капуто пытается использовать радикальное учение Иисуса в роли катализатора для либеральных реформ политической системы. Основные аспекты его политических воззрений никогда не выходят за рамки программ американских либеральных политиков, также призывающих к реформе системы образования, отказу от доминирующей роли США на внешнеполитической арене, изменению иммиграционного законодательства. Капуто хватается смелости, чтобы демонтировать большинство метафизических представлений о Боге и предложить совершенно новый, теопозитический способ богословствования, но он не готов рассмотреть возможность того, что такие радикальные богословские концепции потребуют не менее радикальных теополитических шагов.

* * *

Теопозитическая интерпретация божественного, предлагающая мыслить о Боге как об особом событии и призыве к справедливости, может рассматриваться как инновационное и перспективное направление постмодернистской философии религии. Ее истоки следует искать в предложенном Гегелем метафорическом и образном мышлении о христианской истине, а также в поэтической трактовке важного для континентальной философии понятия события. Смысл теопозитики не в поэтическом прочтении или эстетизации традиционных верований и практик, а в применении сложного набора дискурсивных стратегий, творческом воплощении веры, которая еще должна наступить. Теопозитическая перспектива божественного имеет важные политические последствия – последовательная деконструкция идеи суверенного Бога, рассматриваемого как одна из опор идеологии и практики политического насилия, предусматривает и деконструкцию самих насильственных политических систем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Caputo J. 2002. *The Poetics of the Impossible and the Kingdom of God // Rethinking Philosophy of Religion: Approaches from Continental Philosophy*. New York : Fordham Univ. Press. P. 43-58.

Caputo J. 2006. *The Weakness of God: A Theology of the Event*. Bloomington : Indiana Univ. Press. 376 p.

Caputo J. 2007. *What Would Jesus Deconstruct?: The Good News of Postmodernism for the Church*. Grand Rapids : Baker Academic. 160 p.

Caputo J. 2013. Radical Theology as Theopoetics // Theopoetic Folds: Philosophizing Multifariousness. New York : Fordham Univ. Press. P. 125-141.

Caputo J. 2014. Theopoetics as Heretical Hegelianism // Cross Currents. № 64. P. 509-534.

Caputo J., Keller K. 2007. Theopoetic/theopolitic // Cross Currents. № 56. P. 105-111.

Derrida J. 1992. Given Time. I, Counterfeit Money. Chicago : Univ. of Chicago Press. 182 p.

Derrida J. 1998. Faith and Knowledge: The Two Sources of Faith and Knowledge at the Limits of Reason Alone // Religion / ed. J. Derrida and G. Vattimo. Stanford : Stanford Univ. Press. P. 1-78.

Keefe-Perry L. 2014. Way to Water: A Theopoetics Primer. Eugene : Cascade Books. 228 p.

Miller D. 2010. Theopoetry or Theopoetics? // Cross Currents. № 60. P. 6-23.

Putt K. 2007. Risking Love and the Divine 'Perhaps: Postmodern Poetics of a Vulnerable God // Perspectives in Religious Studies. № 34. P. 193-214.

Wilder A. 2001. Theopoetic: Theology and the Religious Imagination. Lima, Ohio : Academic Renewal Press. 116 p.



R. Soloviy. Teopoetika i teopolitika Dzhona Kaputo [John Caputo's theopoetics and theopolitics], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 7-21. (in Russ.).

Roman P. Soloviy, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, National Pedagogical Dragomanov University, Lviv, Ukraine. E-mail: r.p.soloviy@npu.edu.ua

Article recived 05.08.2016, accepted 29.08.2016, available online 01.10.2017

JOHN CAPUTO'S THEOPOETICS AND THEOPOLITICS

Abstract. The article speaks of and describes the philosophical-theological conditions and characteristics of theopoetic interpretation of the divine in the postmodern times. Its main feature is an effort to replace the traditional prosaic theology characterized by its intellectualism, scientism and the displacement of symbols with the poetic sensitivity to the divine. The author takes John Caputo's "weak theology" as an example and reflects on how it is still possible to speak about God in a way that is both meaningful and relevant to the post-modern people in the world, which declares that there is no fixed and authoritative way to access the knowledge or the belief. Caputo's theopoetics is an important component of his "weak theology" project, which considers God not as an all-powerful person or the ground of being, but as the "weak force", devoid of traditional metaphysical attributes of authority, power and hierarchical primacy open to risk and uncertainty. The "weak theology" seeks to remain open to "things themselves"; that is, to what belongs to the ultimate human concern and cannot be reduced to the accuracy of statements made by the objectifying thinking. Similarly, Caputo sees religion not as a figurative expression of metaphysical substance or spirit, but as a way to poeticize what Heidegger, Derrida and Deleuze called an "event". Additionally, the article analyzes some consequences of the theopoetic perspective to the formation of a new political theology

and the search for new ways of Christians' political engagement. The article investigates how the consistent deconstruction of the idea of a sovereign God regarded as one of the pillars on which the ideology and practice of political violence stands involves the deconstruction of these violent political systems.

Keywords: John Caputo, deconstruction, theo-poetics, theopolitics, "weak theology", event of God.

References

Caputo J. Radical Theology as Theo-poetics, *Theopoetic Folds: Philosophizing Multifariousness*, New York, Fordham Univ. Press, 2013, pp. 125-141.

Caputo J. The Poetics of the Impossible and the Kingdom of God, *Rethinking Philosophy of Religion: Approaches from Continental Philosophy*, New York, Fordham Univ. Press, 2002, pp. 43-58.

Caputo J. *The Weakness of God: A Theology of the Event*, Bloomington, Indiana Univ. Press, 2006, 376 p.

Caputo J. Theo-poetics as Heretical Hegelianism, *Cross Currents*, 2014, no. 64, pp. 509-534.

Caputo J. *What Would Jesus Deconstruct?: The Good News of Postmodernism for the Church*, Grand Rapids, Baker Academic, 2007, 160 p.

Caputo J., Keller K. Theo-poetic/theopolitic, *Cross Currents*, 2007, no. 56, pp. 105-111.

Derrida J. Faith and Knowledge: The Two Sources of Faith and Knowledge at the Limits of Reason Alone, J. Derrida, G. Vattimo (eds.) *Religion*, Stanford, Stanford Univ. Press, 1998, pp. 1-78.

Derrida J. *Given Time. I, Counterfeit Money*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1992, 182 p.

Keefe-Perry L. *Way to Water: A Theo-poetics Primer*, Eugene, Cascade Books, 2014, 228 p.

Miller D. Theo-poetry or Theo-poetics?, *Cross Currents*, 2010, no. 60, pp. 6-23.

Putt K. Risking Love and the Divine 'Perhaps: Postmodern Poetics of a Vulnerable God, *Perspectives in Religious Studies*, 2007, no. 34, pp. 193-214.

Wilder A. *Theopoetic: Theology and the Religious Imagination*, Lima, Ohio, Academic Renewal Press, 2001, 116 p.



Демин И.В. Критика историзма в философской концепции Лео Штрауса // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3, с. 22–36.

УДК 930.1

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.2236

КРИТИКА ИСТОРИЗМА В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЕО ШТРАУСА¹

Илья Вячеславович Демин

доктор философских наук,
доцент кафедры философии и истории
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева,
г. Самара. E-mail: ilyadem83@yandex.ru

Материал поступил в редколлегию 17.11.2016 г.

В статье исследуются мотивы и основания критики историзма в философской концепции Лео Штрауса. Выявлены и упорядочены основные аргументы, выдвинутые Штраусом против принципа историзма. Все возражения Штрауса разделены на две группы. К первой отнесены те аргументы, которые оспаривают не само содержание принципа историзма, но приписываемое ему значение в контексте философского и научного познания. Во вторую группу сведены содержательные возражения против историзма. Штраус проводит сравнительный анализ различных версий историцистской философии, выявляет их общий знаменатель, прослеживает генезис историзма как культурно-исторического релятивизма. Сердцевину всякой историцистской концепции составляют презумпция исторической обусловленности философии и констатация невозможности универсальных ответов на философские вопросы. Историзм рассматривается Штраусом в качестве вызова, с которым столкнулась современная философия. Ключевую роль в разложении классической философской традиции и становлении историцистских концепций, согласно Штраусу, сыграла утвердившаяся в Новое время идея прогресса. Проблема соотношения философии и истории, философского и исторического типов познания является ключевой для понимания сущности историзма. Позиция историзма здесь заключается в постановке философских вопросов в историко-философском и историческом аспектах. Штраус в решении проблемы соотношения философии и истории опирается по преимуществу на классическую философскую традицию, однако он учитывает и опыт критики историзма в таких неклассических философских направлениях, как неокантианство, феноменология, критический рационализм. Штраус собирает воедино все основные возражения и аргументы, которые высказывались против историзма представителями различных философских течений XX в. Собственный вклад Штрауса в критику историзма заключается в доказательстве тезиса о том, что данный принцип не может иметь исторического и эмпирического обоснования, но представляет собой внутренне противопо-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-13-63001 «Философские основания семиотики истории» (Региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2017 года).

речивую философскую установку. Штраус убедительно аргументировал свою точку зрения, согласно которой позиция историзма не может быть опровергнута историческими фактами и аргументами, она может быть лишь отвергнута во имя какого-то иного (не менее фундаментального, чем историзм) философского принципа.

Ключевые слова: историзм, историцизм, история, философия истории, релятивизм, классическая философия, Лео Штраус.

В европейской философии XX в. представлены различные стратегии критики историзма. Среди наиболее известных критиков историзма следует назвать Г. Риккерта [Риккерт 1998], Э. Гуссерля [Гуссерль 2005], К. Поппера [Поппер 1993], С.Л. Франка [Франк 1992], К. Ясперса [Ясперс 1991].

Множественность стратегий критики историзма связана, во-первых, с многогранностью данного явления, а во-вторых, с наличием нескольких различных трактовок принципа историзма («романтический» историзм, гегелевский историзм, марксистский историзм, неклассический историзм Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда, герменевтический историзм М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера) [Демин 2016а: 114-148].

Критика историзма велась с позиций неокантианского трансцендентализма (Г. Риккерт), феноменологии как строгой науки (Э. Гуссерль), критического рационализма (К. Поппер, Ф. фон Хайек [Демин 2016с]), русской философии всеединства (Л.П. Карсавин, С.Л. Франк [Демин 2015b]). Стратегии критики историзма, представленные в различных философских течениях XX в., направлены на выявление общего знаменателя основных трактовок историзма. Важное место в этом ряду занимает Лео Штраус, который проанализировал генезис историцистских идей в новоевропейской философии и осуществил всестороннюю критику историзма, исходя из позиций классической философской традиции и естественноправовой теории.

Штраус и в России, и на Западе известен, главным образом, как политический мыслитель, возродивший традицию классической политической философии [Janssens 2008; Norton 2004; Pangle 2006; Smith 2006], и как один из теоретиков неоконсерватизма. Философско-исторические взгляды Штрауса изучены в меньшей степени, а между тем именно трактовка истории и принципа историзма во многом определяет своеобразие его политической философии.

Прежде чем перейти к анализу основных аргументов, выдвигаемых Штраусом против историзма, кратко остановимся на проблеме различения понятий «историзм» (нем. *Historismus*) и «историцизм» (нем. *Historizismus*).

Существует несколько подходов к разграничению этих терминов. Один из них представлен в советской философии. Термин «историзм» использовался советскими исследователями для обозначения марксистского видения общества и истории, тогда как термин «историцизм» применялся по отношению к «буржуазным» концепциям истории неклассического типа (В. Дильтей, О. Шпенглер, Р.Дж. Коллингвуд).

В отличие от «историзма» термин «историцизм» в философии XX в. имеет почти исключительно негативную смысловую нагрузку [Филатов и др. 2007: 156], однако четкое разграничение этих терминов так и не было

проведено не только в английской и французской, но и в немецкой философии. Например, Эдмунд Гуссерль, один из первых критиков историзма, в работе «Философия как строгая наука» (1911) использует термин *историцизм* для обозначения методологической установки, согласно которой философские и научные истины рассматриваются как *всецело* исторически и культурно обусловленные. Наиболее последовательное выражение данной позиции Гуссерль усматривал в «философии жизни» Дильтея. Генрих Риккерт в «Философии истории» (1907) определяет философскую позицию Дильтея не как *историцизм*, но как *историзм* [Риккерт 1998]. Это же относится и к фундаментальному исследованию Эрнста Трельча «Историзм и его проблемы», датируемому 1922 г. [Трельч 1994]. С.Л. Франк в своем труде «Духовные основы общества» (1930) также использует термин «историзм» (в качестве синонима *исторического релятивизма*) [Франк 1992].

Термин «историзм» обладает гораздо более широким спектром значений, нежели «историцизм». Все многообразие вариантов употребления последнего, в конечном счете, укладывается в две основные схемы: одна из них была намечена Гуссерлем в программной статье «Философия как строгая наука», другая – К.-Р. Поппером в работах «Открытое общество и его враги» (1945) и «Нищета историцизма» (1957). Примечательно, что эти две ведущие стратегии критики историцизма *диаметрально противоположны* по своей направленности. Если у Гуссерля мишенями критики становятся релятивизм и скептицизм, то Поппер, напротив, разоблачает универсалистские притязания историцизма. Если историцизм в гуссерлевской его интерпретации является констатацией невозможности общезначимой истины, то в концепции Поппера историцизм порицается за его необоснованные претензии дать целостную и завершенную картину человеческой истории, включающую в себя знание о прошлом, настоящем и будущем всего человечества. Если Гуссерль философским основанием историцизма полагает антисубстанциализм и антиплатонизм, то Поппер, напротив, отождествляет историцизм с эссенциализмом и холизмом, объявляя «историчистами» Платона, Гегеля и Маркса. Как видим, термин «историцизм» используется для обозначения двух противоположных философских позиций. В марксистской традиции то, что Поппер определял как «историцизм», именовалось *историзмом*. Учитывая все сказанное, в ходе дальнейшего изложения мы будем использовать термины «историзм» и «историцизм» в качестве синонимов.

В чем усматривает Штраус сущность историзма? Сложность ответа на этот вопрос заключается в том, что термин «историзм» (*Historismus*) используется в текстах Штрауса при описании двух различных установок. Одну из них можно условно обозначить как «наивный историзм», другую – как «критический историзм». В самом общем смысле различие между этими двумя типами историзма сводится к тому, что наивный историзм претендует на статус универсального принципа человеческого мышления, а историзм критический позиционируется как выражение духа определенной (современной) исторической эпохи. Первый тип историзма представлен гегелевской историософией, философией немецкого романтизма, исторической школой права. Критический историзм присущ, главным образом, экзистенциально-

герменевтической философии XX в., проявляясь, прежде всего, в философских построениях Хайдеггера и Гадамера. Штраус выдвигает различные критические аргументы в зависимости от того, о каком типе историзма идет речь.

1. Что такое историзм? Историзм, согласно Штраусу, не является лишь одной из многочисленных философских школ современности, историзм – это «мощная движущая сила, оказывающая влияние на всю современную философскую мысль» [Штраус 2000: 103]. В определенном смысле историзм есть выражение духа современной эпохи: «В той степени, в которой мы вообще можем говорить о духе времени, мы с уверенностью можем утверждать, что историцизм – это дух нашего времени» [Штраус 2000: 103]. Историзм создает новую ситуацию для философии вообще и для политической философии в частности.

Историзм рассматривается Штраусом в качестве *вызова*, с которым столкнулась современная философия. Своей высшей точки историзм, согласно Штраусу, достигает в европейском (германском) *нигилизме*. В статье «Германский нигилизм» [Штраус 2013] Штраус отмечает, что проистекающая из историцистской философии идея культурно-исторической обусловленности науки является *нигилистической* по своей сути: «Кто бы ни признавал, к примеру, идею нордической, германской или фаустовской науки, тем самым он как минимум отвергает саму ее идею. Различные “культуры” могут создавать различные виды “науки”, но лишь один из них может быть подлинным, может быть Наукой» [Штраус 2013: 195].

Сущность историзма заключается не в том, что он ставит под вопрос ту или иную философскую систему, но в том, что он исключает возможность существования философии как таковой. Штраус исходит из наличия в истории философии фундаментальных проблем, которые «...сохраняют свою идентичность при всех исторических изменениях, как бы они ни затмевались временным отрицанием их значения и как бы ни были изменчивы или предварительны все человеческие решения этих проблем» [Штраус 2007: 37]. Сам факт констатации в истории философии универсальных проблем (таких, как, например, проблема справедливости в политической философии) освобождает человеческий ум от исторической ограниченности и возвышает мыслителя над конкретно-исторической ситуацией. Тем самым Штраус возвращается к первоначальному, сократовскому пониманию философии. Философия есть *знание о незнании* или, другими словами, осознание фундаментальных проблем и фундаментальных альтернатив их решения. В разные эпохи и разными мыслителями эти проблемы понимались и решались по-разному, воспринимались с большей или меньшей ясностью. Однако возможность усмотрения «вечных» проблем философии сама по себе уже свидетельствует о том, что человеческая мысль способна преодолеть свою историческую ограниченность.

Ориентация Штрауса на классический тип философской рефлексии отчетливо прослеживается в следующем фрагменте: «Философия возможна только в том случае, если существует некий абсолютный, или естественный, кругозор, в отличие от исторически изменяющихся кругозоров, или пещер» [Штраус 2007: 39]. Примечательно обращение Штрауса к платоновской

метафоре пещеры: философия возможна лишь в том случае, если человек *в принципе* способен выбраться из *пещеры*, трансцендировать собственную историческую обусловленность. «Человек хотя не способен к постижению мудрости или к полному пониманию целого, но способен знать, что он не знает, то есть способен к восприятию фундаментальных проблем» [Штраус 2007: 39]. Такое понимание философии предопределяет неприятие Штраусом историцизма, который стремится навсегда запереть человеческий разум в *пещере* исторической эпохи или культуры.

Суть историцизма Штраус видит в невозможности сохранить различие между собственно *философскими* и *историческими* (и культурологическими) вопросами. Различие между *философией* и *историей философии* было конститутивным и основополагающим для всей классической философской традиции. Первым, кто продемонстрировал относительность этого различия, обосновав сущностное единство философии и истории философии, был Гегель. Философ в своих историософских построениях, как известно, исходил из идеи «конца истории», рассматривая собственную историческую эпоху как «абсолютный момент, конец значимого времени» [Штраус 2000: 97]. Признавая историческую обусловленность всякой философской системы прошлого (каждое философское учение есть выражение духа той или иной эпохи), Гегель делал исключение для собственной философской системы. Он, по словам Штрауса, «примирил “открытие Истории” ... с философией в изначальном значении слова» [Штраус 2000: 134]. Именно с Гегеля начинается триумфальное шествие историцизма, хотя предпосылки для «открытия истории» в новоевропейской философии складывались, согласно Штраусу, на протяжении XVII–XVIII вв.

Штраус выделяет два исходных предположения, на которых базируется всякая историцистская доктрина: 1) несводимость исторической реальности к природному бытию и 2) отсутствие в истории «естественных» и самоотждествленных феноменов, доступных для объективного познания, аналогичного познанию естественнонаучному.

1. История рассматривается в историцизме как особый *бытийный регион*, отличный от природы [Демин 2015а: 44–50]. Сторонник историцизма исходит из непреодолимой границы между миром истории и миром природы. История понимается как несводимый к природе универсум, который невозможно объяснить средствами естественнонаучного познания [Штраус 2000: 105]. Историцизм открывает историю в качестве особого *измерения действительности*, тем самым делая возможным существование такой области знания, как *философия истории*.

2. Любая сознательная реконструкция исторического события или философского учения прошлого неизбежно приводит к значительной модификации реконструируемого. Это связано с тем обстоятельством, что каждое учение сущностно соотносится с определенной исторической ситуацией и эпохой [Штраус 2000: 105]. В этом смысле переписывание истории мысли *имманентно* самой истории мысли и является ее неотъемлемым структурным компонентом.

Сердцевину всякой историцистской концепции составляет презумпция исторической (культурно-исторической) обусловленности всякой философской системы. Так, например, в области политической философии, которая

всегда приоритетно интересовала Штрауса, разнообразие противоречащих друг другу и даже взаимоисключающих концепций с точки зрения историзма должно рассматриваться как *следствие* разнообразия исторических и политических ситуаций. С позиций историзма та или иная конкретная версия политической философии, порожденная определенными историческими условиями, не может претендовать на универсальную значимость.

Наиболее последовательные историцисты полагают, что универсальные вопросы традиционной философии не могут быть не только решены, но даже *поставлены*. Это связано с тем обстоятельством, что исторически обусловленными являются наряду с *ответами* и сами *вопросы*. Принцип историзма требует признать историчность и каждого отдельно взятого философского учения, и *философии как таковой*: «Поскольку универсальные вопросы традиционной философии не могут быть отброшены без отказа от самой философии, то она сама и сами ее универсальные вопросы “исторически обусловлены”, то есть сущностно соотносятся с определенным “историческим” типом, например с западным человеком или с греками и их интеллектуальными преемниками» [Штраус 2000: 105]. Историзм, таким образом, неизбежно входит в противоречие с самой идеей философии. Речь идет о противоречии между претензией философии на внеисторическое постижение истины и ее неизбежной исторической обусловленностью.

Согласно историзму ни один ответ на универсальный философский вопрос не может иметь универсальной значимости и не является окончательным. Однако, провозглашая этот тезис, сторонники историзма, как уже неоднократно отмечалось в философии XX в., впадают в противоречие, полагая невозможность разрешения философских вопросов в качестве *универсальной и внеисторической истины*. «Только при одном условии, – отмечает Штраус, – историцизм мог бы претендовать на то, что он порвал со всеми претензиями на окончательность, если бы он представил историцистский тезис не просто как истинный, но как *истинный лишь на время*» [Штраус 2000: 116] (курсив мой. – И.Д.). Речь идет о том, что сторонник историзма должен осознать историческую обусловленность не только точки зрения классической (неисторической) философии, но и собственной точки зрения, иными словами, «историцизм должен быть применен к самому себе» [Штраус 2000: 116].

Как указывает Штраус, «если историцистский тезис верен, то мы не сможем избежать того вывода, что этот тезис “историчен” или действителен, в силу своей многозначности, только для особой исторической ситуации» [Штраус 2000: 116]. Наивный, или догматический, историзм, таким образом, трансформируется в историзм *критический*, который более не претендует на статус универсального принципа и окончательной истины. Будучи историзированным, принцип историзма оказывается соотнесенным уже не с человеческим бытием *как таковым*, но лишь с условиями существования *современного* человека. Такая трансформация историзма допускает и даже подразумевает, что «...он будет заменен в свое время позицией, которая не является более историцистской» [Штраус 2000: 117]. Одно из важных направлений критики историзма в философии Штрауса, таким образом, заключается в *деуниверсализации* этого принципа.

2. Идея прогресса и генезис историзма. Историзм и классическая философия. Особое внимание Штраус уделяет вопросу о происхождении принципа историзма в новоевропейской философии, генезисе «идеи истории». Противопоставление двух типов философской рефлексии, классической неисторической философии и историзма Нового времени, проходит красной нитью сквозь все рассуждения Штрауса о политической философии и естественном праве.

Ключевую роль в разложении классической философской традиции и становлении историцистских концепций сыграла утвердившаяся в новое время *идея прогресса*. Суть ее в том, что следующее (*next*) считается более зрелым и совершенным, чем предыдущее. Штраус отмечает, что, поскольку историзм появляется позже, чем неисторичная политическая философия, у некоторых мыслителей складывается обманчивое впечатление, будто «сама история вынесла решение в пользу историцизма» [Штраус 2000: 107]. В основе этого заблуждения лежит ничем не подкрепленная вера в неизбежность и неуклонность прогресса.

Прогрессистские теории XVIII и XIX вв. (французские просветители, Гегель, Конт) рассматриваются Штраусом как важнейший этап на пути становления современного историзма. Вера в прогресс «...стоит на полпути между неисторическим взглядом философской традиции и историцизмом» [Штраус 2000: 111], а «...“рационализм” XVII и XVIII столетий был в основе своей куда более “историчным”, нежели “рационализм” до-современной эпохи» [Штраус 2000: 114]. Главное сходство прогрессистских теорий исторического развития с классической философской традицией, представленной философскими системами Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, заключается, по мнению Штрауса, в признании неизменных (субстанциальных) и универсально значимых критериев, не требующих и не предполагающих *исторического* и эмпирического обоснования. В то же время прогрессистские теории всемирной истории отклоняются от классической философской традиции в том, что постулируют «...поступательное движение мышления и институтов по направлению к порядку, полностью согласующемуся с определенными универсальными требованиями человеческого величия» [Штраус 2000: 111]. Ключевая роль в движении от классического субстанциализма к историзму принадлежит Гегелю, который осуществил «синтез» философии и истории.

Сторонники историзма, продолжая начинание французских просветителей и Гегеля, делают следующий шаг на пути дальнейшего разрыва с классической философской традицией. Представители раннего историзма (немецкая историческая школа) подвергли прогрессистские теории *исторической* (но не философской) критике. Они показали, что прогрессистский взгляд на историю «...основывался на совершенно недостаточном понимании прошлого» [Штраус 2000: 111]. В контексте прогрессистских схем прошлое не может быть понято само по себе, оно может быть осмыслено лишь как *подготовка к настоящему*. В рамках такого подхода философские системы прошлого оцениваются в свете более поздних открытий и изобретений, их значение определяется их «вкладом» в современное миропонимание.

«Понимать мыслителей прошлого лучше, чем они сами себя понимали» – такова господствующая установка прогрессизма.

Позитивное значение историзма Штраус усматривает в том, что вера в прогресс и идея прогресса были подвергнуты обоснованной исторической критике, главным мотивом которой было стремление к адекватному осмыслению прошлого. Однако историзм первой половины XIX в., направленный против просвещенческой идеи прогресса, в ходе дальнейшего развития был заменен не неисторической философией, но более изощренной и радикальной формой историцизма. Штраус не приводит примеров «радикального историзма»; впрочем, можно обоснованно предположить, что речь идет об историцистских концепциях Дильтея, Шпенглера, Кроче, Коллингвуда и (с некоторыми оговорками) Гадамера [Демин 2015с: 36-55]. Историзм здесь приобретает черты *исторического релятивизма*. «Типичный историцизм XX века настаивает на том, что каждое поколение по-своему истолковывает прошлое, основываясь на своем собственном опыте и с прицелом на свое собственное будущее» [Штраус 2000: 104]. Это уже не созерцательный, но «активистский» историцизм [Штраус 2000: 104]. Главный тезис активистского историцизма заключается в том, что история всякий раз неизбежно переписывается в свете настоящего и в связи с проектами будущего.

Штраус полагает, что современный историцизм (исторический релятивизм), отрицая прогрессистские схемы всемирной истории, господствовавшие в европейской философии истории XVIII и XIX вв., генетически восходит именно к этим схемам. Сторонники современного историзма часто обвиняют представителей классической неисторической философии и носителей идеи прогресса в догматизме. Штраус отвергает это обвинение, замечая, что философ-историцист «не менее, а куда более догматичен, чем средний философ прошлого» [Штраус 2000: 115].

Осознание философом-историцистом собственной исторической обусловленности само по себе не является аргументом в пользу того, что «... его философская рефлексия стоит на более высоком уровне, нежели у философов, особо не озабоченных своей исторической ситуацией» [Штраус 2000: 115]. Штраус склонен полагать, что современный сторонник историзма «...куда более подвержен убеждениям и “течениям”, господствующим в его веке, и захвачен ими» [Штраус 2000: 115] именно в силу того, что он отказался от намерения смотреть на вещи *sub specie aeternitatis*. Таким образом, историзм нельзя оценивать как более высокий уровень философской рефлексии по сравнению с «наивной» классической неисторической философией.

3. Аргументы и возражения Штрауса против историзма. Остановимся теперь на основных аргументах Штрауса против историзма, понятого как исторический релятивизм. О некоторых возражениях мы уже упоминали в ходе рассмотрения трактовки сущности и генезиса историзма в политической философии Штрауса. Все возражения Штрауса против историзма можно условно разделить на две группы. К первой следует отнести те аргументы, которые оспаривают не само содержание принципа историзма, но приписываемое этому принципу значение в контексте

философского и научного познания. Вторую группу составляют содержательные возражения против историзма.

1.1. Первое и наиболее формальное возражение заключается в том, что *историзм не может приниматься как нечто само собой разумеющееся, самоочевидное, не нуждающееся в обосновании.*

Признавая относительную правоту *критического историзма*, Штраус полагает, что так называемое открытие Истории в европейской философии Нового времени было не столько *открытием*, сколько *изобретением*. Если исходить из того, что история (историчность) является исходным и фундаментальным измерением человеческого бытия, которое долгое время ускользало от внимания классической философской мысли, это неизбежно приведет к крайнему историзму, к историческому релятивизму. Выдвигнув тезис, что историзм не есть что-то само собой разумеющееся, Штраус формулирует следующий вопрос: «Не было ли то, что приветствовалось в XIX веке как открытие, на самом деле изобретением?» [Штраус 2007: 37-38]. Вопрос этот, по существу, является риторическим, поскольку положительный ответ на него предопределен всем ходом рассуждений Штрауса.

Окончательное утверждение принципа историзма в европейской философии, как известно, связано с критикой гегелевской трактовки философии истории и истории философии в «философии жизни» (Ницше, Дильтей). Гегелевская историософия занимала промежуточное положение между классической (субстанциалистской) философской традицией и собственно историзмом.

Штраус показывает, что отказ от гегелевского взгляда на историю и признание правомерности дильтеевской трактовки истории философии как «анархии философских систем» не являются аргументами в пользу самоочевидности историзма: «Если “анархия систем”, демонстрируемая историей философии, что-нибудь и доказывает, то только лишь наше незнание самых важных тем (о незнании которых нам может быть известно и без историцизма), и тем самым она доказывает необходимость философии» [Штраус 2000: 107]. «Анархия философских систем» свидетельствует не в пользу самоочевидности историзма, но (косвенным образом) в пользу признания необходимости неисторической философии, философии классического типа. Штраус показывает, что историзм не представляет собой исходную предпосылку познания общества и культуры, которую следует принимать в качестве самоочевидности, к историзму необходимо подходить как к *проблеме*, которую невозможно осмыслить и разрешить *исторически*. Историзм должен быть осознан в качестве *философской* проблемы и философского вызова.

1.2. Другое возражение Штрауса сводится к тому, что *историзм не является закономерным выводом из беспристрастного изучения истории философии*. Историзм вообще не может быть обоснован *исторически*, установлен с помощью исторических свидетельств в ходе исторических исследований: «Было бы ошибкой думать, что историцизм мог бы быть результатом беспристрастного изучения истории философии, и в особенности истории политической философии» [Штраус 2000: 113]. Тезис об историчности всех способов и форм человеческого бытия, историчности философской и научной мысли,

историчности истины не следует рассматривать в качестве *исторически обоснованного* положения. Принцип исторической обусловленности философского мышления отсылает не к историческим фактам, но к определенному типу философского мышления. Исходные основания, на которые опирается историзм, оказываются ничуть не менее «спекулятивными», чем основания той или иной неисторической философской концепции.

1.3. Еще одно возражение из этой группы заключается в том, что *понимание генезиса и исторической обусловленности того или иного философского учения не исключает возможной истинности этого учения*. Согласно историзму главным содержанием историко-философского исследования должно стать *прояснение контекста*, исторических условий возникновения того или иного философского учения. Однако, как показывает Штраус, прояснение отношений между учением и историческим контекстом его возникновения само по себе еще недостаточно для вынесения суждений об истинности или ложности данного учения. Понимание генезиса и историко-культурного контекста возникновения учения, на котором настаивают историцисты, само по себе не содержит аргументов в пользу истинности или ложности данного учения. Тот факт, что каждое учение возникает в определенном контексте, «...совсем не доказывает того, что ни одно учение не может быть просто истинным» [Штраус 2000: 109].

Теперь перейдем к содержательным возражениям Штрауса против историзма. Если приведенные выше «формальные» аргументы не выдают в явном виде собственных философских симпатий Штрауса, то содержательная критика историзма осуществляется им с позиций классической философской мысли, в свете сократовского понимания философии как знания о незнании.

2.1. Первое содержательное возражение против принципа историзма может быть сформулировано следующим образом: *историзм неявно опирается на идею прогресса, которую громогласно ниспровергает*. Данный аргумент направлен по преимуществу против «наивного», или догматического, историзма и едва ли может быть применен к историзму критическому. Штраус подчеркивает, что «современная мысль во всех своих формах, прямо или косвенно, обусловлена идеей прогресса» [Штраус 2000: 120]. Под «современной мыслью» он понимает, прежде всего, различные формы историзма.

Историзм описывается Штраусом как «...гораздо более экстремальная форма новой посяторонности, чем был французский радикализм XVIII века» [Штраус 2007: 21]. Несмотря на то что в немецком романтизме и исторической школе права просветительские схемы исторического развития, основанные на вере в прогресс, подвергаются критике с исторических и идеологических (консервативных) позиций, идея прогресса здесь продолжает подспудно определять философскую мысль. Историцист убежден в превосходстве своей точки зрения над (неисторической) точкой зрения мыслителей прошлого. В этом историцизм разделяет основное заблуждение прогрессизма. Историзм является законным наследником Просвещения, хотя отвергает идею прогресса и веру в научный разум [Руткевич 2006: 17].

Признавая относительную правоту историзма, Штраус формулирует вопрос: «Почему современная философия (в отличие, например, от философии

средневековой) нуждается в историко-философских и исторических исследованиях?». Ответ кроется в том обстоятельстве, что вся современная философия прямо или косвенно обусловлена *идеей прогресса*. В этой связи Штраус говорит о необходимости установить различие между унаследованным знанием и знанием, полученным самостоятельно. В условиях господства прогрессистской парадигмы, которая дает о себе знать и в современном историзме, второй тип знания все более утрачивает свое ключевое значение [Штраус 2000: 120]. Противодействие этой тенденции требует от философа и ученого специального усилия по «...преобразованию унаследованного знания в подлинное посредством оживления его исходного открытия и по распознаванию подлинных и фальшивых элементов того, что претендует быть унаследованным знанием» [Штраус 2000: 120]. Задача историко-философского исследования и философской критики философских учений прошлого, с точки зрения Штрауса, как раз и сводится к «оживлению» унаследованного знания.

2.2. Следующее возражение заключается в том, что *принцип историзма не позволяет обосновать возможность адекватного понимания прошлого*. Это возражение выдвигается Штраусом в ходе рассмотрения вопроса о критериях адекватной интерпретации философских учений прошлого. Упрек в неадекватной интерпретации исторических событий и текстов, на первый взгляд, может вызвать недоумение, поскольку именно сторонники историзма всегда отстаивали идею самоценности прошлого и предостерегали от соблазна видеть в нем только «ступень» на пути к настоящему. Тем не менее тезис о том, что адекватное понимание прошлого (в том числе и философских учений прошлого) возможно только на основе историзма, ставится Штраусом под сомнение.

Какая интерпретация учений прошлого может считаться адекватной? С точки зрения Штрауса, ответ на данный вопрос может быть только один: «Адекватная интерпретация – это такая интерпретация, которая понимает мысль философа так же, как он понимал ее сам» [Штраус 2000: 111]. Штраус усматривает подлинную задачу историка мысли в том, чтобы понять мыслителей прошлого *так, как они понимали сами себя*, и «...оживить их мысль согласно их собственной интерпретации» [Штраус 2000: 112]. В этом же заключается и единственно возможная «объективность» в историко-философском исследовании.

Историзм, вопреки первоначальному намерению сторонников этого принципа, парадоксальным образом исключает возможность исторической точности и объективности. Историзм утверждает необходимость изучать мыслителей прошлого в *исторической манере*, тогда как сами они рефлексировали (или могли рефлексировать) себя в *неисторическом духе*. С точки зрения историциста, они просто «не осознавали» собственной историчности. Историцист же ее осознает и в этом смысле понимает мыслителей прошлого лучше, чем они сами себя понимали. Сторонник историзма убежден в своем превосходстве по сравнению с мыслителями прошлого. Однако, как подчеркивает Штраус, «наше понимание мысли прошлого может быть тем более адекватным, чем менее историк убежден в превосходстве своей точ-

ки зрения или чем более он подготовлен принять возможность того, что ему придется научиться чему-то не просто о мыслителях прошлого, а от них» [Штраус 2000: 112].

Историцисты часто ссылаются на неустранимую множественность различных (и даже несовместимых друг с другом) интерпретаций тех или иных философских учений прошлого как на аргумент в пользу безальтернативности историзма. Однако возможность различных интерпретаций любого философского учения прошлого сама по себе не свидетельствует в пользу историцизма [Штраус 2000: 112].

Таким образом, историцизм, согласно Штраусу, «...органически не способен жить согласно требованиям исторической точности, которые он, как могут сказать, открыл» [Штраус 2000: 112].

2.3. Последнее и самое фундаментальное возражение, на которое обращали внимание и другие философы XX в. (в частности, Э. Гуссерль и С.Л. Франк), заключается в указании на *самопротиворечивый* характер историзма. Историзм, будучи отрицанием универсалистских притязаний классической философии, оказывается внутренне противоречивой установкой в той степени, в которой он претендует на статус универсального принципа познания и практической деятельности.

Историзм, претендующий на статус универсального принципа, основан на *трансгисторической* точке зрения, как и любая доктрина естественного права, которую он отвергает: «Утверждая, что всякая человеческая мысль или, по крайней мере, всякая значимая человеческая мысль исторична, историзм признает, что человеческая мысль способна достигнуть некоего весьма важного соображения, которое универсально действенно и которое никак не будет задето никакими будущими неожиданностями» [Штраус 2007: 29].

Историзируя принцип историзма, Штраус предлагает рассматривать его в качестве продукта определенных культурно-исторических условий и выражения состояния умов современной эпохи. Историзм должен быть избавлен от универсалистских притязаний, только в этом случае он станет не инструментом разрушения философии и рациональности, но важным аспектом критической рефлексии как таковой.

Подведем итог. Под историзмом в философской концепции Штрауса понимается принцип мышления, сводящий философские вопросы к вопросам историческим, и мировоззренческая установка, согласно которой признание культурно-исторической обусловленности всякой философской системы исключает возможность не только универсальных философских вопросов, но и универсальных философских ответов.

Штраус собирает воедино все основные возражения и аргументы, которые высказывались против историзма представителями различных философских течений XX в. Собственный вклад Штрауса в критику историзма заключается в том, что он убедительно показал: историзм как принцип мышления и установка в познании не может иметь *исторического* (фактического, эмпирического) обоснования. Историзм может иметь лишь философское, но не историческое обоснование. Аналогичным образом позиция историзма не может быть *опровергнута* историческими фактами, она может

быть лишь *отвергнута* во имя какого-то иного (не менее фундаментально-го, чем историзм) философского принципа. Заслуга Штрауса заключается также в анализе и сопоставлении различных версий историцистской философии, в выявлении их общего знаменателя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гуссерль Э. 2005. Избранные работы. М. : Территория будущего. 458 с.
- Демин И.В. 2014. Дилемма интернализма и экстернализма в контексте реконструкции истории философии: Р. Рорти и М. Мерло-Понти // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 6-2. С. 71-74.
- Демин И.В. 2015а. Проблема единства истории в контексте метафизической и постметафизической философии // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. № 6 (28). Т. 2. С. 44-50.
- Демин И.В. 2015b. Различение первичной и вторичной историчности в метафизике Л.П. Карсавина и в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера // Вестн. Самар. гуманит. акад. Сер. «Философия. Филология». № 1 (17). С. 54-64.
- Демин И.В. 2015с. Философия истории в постметафизическом контексте. Самара : Самар. гуманит. акад. 251 с.
- Демин И.В. 2016а. Метафизика и постметафизическое мышление в зеркале историософии: монография. Самара : Самар. гуманит. акад. 238 с.
- Демин И.В. 2016b. Принцип историзма в философской концепции Фридриха фон Хайека // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты : сб. материалов XXVIII Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск : Изд-во Центра развития науч. сотрудничества. С. 87-92.
- Поппер К. 1993. Нищета историцизма. М. : Прогресс. 185 с.
- Риккерт Г. 1998. Науки о природе и науки о культуре. М. : Республика. 413 с.
- Руткевич А.М. 2006. Политическая философия Л. Штрауса // Штраус Л. О тирании. СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та. С. 7-38.
- Трельч Э. 1994. Историзм и его проблемы. М. : Юрист. 719 с.
- Филатов В.П. и др. 2007. Обсуждаем статьи об историзме / В.П. Филатов, О.В. Вышегородцева, В.С. Малахов, Н.М. Смирнова, М.А. Кукарцева // Эпистемология и философия науки. Т. 12, № 2. С. 150-162.
- Франк С.Л. 1992. Духовные основы общества. М. : Республика. 510 с.
- Штраус Л. 2000. Введение в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. М. : Логос : Праксис. 364 с.
- Штраус Л. 2006. О тирании. СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та. 328 с.
- Штраус Л. 2007. Естественное право и история. М. : Водoley Publishers. 312 с.
- Штраус Л. 2013. Германский нигилизм // Политико-философский ежегодник. М. : Ин-т философии РАН. Вып. 6. С. 182-205.
- Ясперс К. 1991. Смысл и назначение истории. М. : Политиздат. 527 с.
- Janssens D. 2008. Between Athens and Jerusalem. Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss's Early Thought. Albany : State Univ. of New York Press. 258 p.
- Norton A. 2004. Leo Strauss and the Politics of American Empire. Yale : Yale Univ. Press. 235 p.
- Pangle T.L. 2006. Leo Strauss an introduction to his thought and intellectual legacy. Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press. 189 p.
- Smith S. 2006. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago : Univ. of Chicago press. 268 p.



Ilya V. Demin. Kritika istorizma v filosofskoy kontseptsii Leo Shtrausa [Critique of historicism in Leo Strauss's political philosophy], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 22-36. (in Russ.).

Ilya V. Demin, Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy and History, Samara University, Samara. E-mail: ilyadem83@yandex.ru
Article received 17.11.2016, accepted 14.12.2016, available online 01.10.2017

CRITIQUE OF HISTORISM IN LEO STRAUSS'S POLITICAL PHILOSOPHY

Abstract. The article discusses the motives and foundations of the critique of historicism in Leo Strauss's political philosophy. The major arguments suggested by Strauss against the principle of historicism are identified and put in order. All objections made by Strauss are divided into two groups. The first one includes those arguments, which challenge not the actual content of the principle of historicism, but the value attributed to it in the context of philosophical and scientific knowledge. The second group includes the substantive objections to historicism. Strauss analyzes and compares different versions of historicism's philosophy, identifies its common denominator, traces the genesis of historicism as a cultural and historical relativism. The core of any historicism's concept is the presumption of historical conditions of philosophy, and a statement of impossibility of universal answers to philosophical questions. Strauss regards historicism as the main challenge facing modern philosophy. According to Strauss, the key role in the decomposition of the classical philosophical tradition and the formation of historicism concepts belongs to the idea of progress firmly established in modern times. The question of the relationship between philosophy and history, as well as philosophical and historical types of knowledge, is crucial for understanding the essence of historicism, which formulates philosophical problems as historical-philosophical and historical ones. In understanding the relationship between philosophy and history, Strauss primarily relies on classical philosophical tradition; however, he also takes into account the experience of critique of historicism in non-classical philosophical concepts such as neo-Kantianism, phenomenology, and critical rationalism. Strauss combines all major objections and arguments against historicism proposed by representatives of various philosophical trends of the XX century. His own contribution to the critique of historicism is the substantiation of the thesis that this principle may not have historical and empirical justification, but it is a self-contradictory philosophical concept. Strauss proves that historicism cannot be refuted by historical facts and arguments; only it can be rejected due to another (but not less fundamental than historicism itself) philosophical principle.

Keywords: historicism, historicism, history, philosophy of history, relativism, classical philosophy, Leo Strauss.

References

Demin I.V. *Dilemma internalizma i eksternalizma v kontekste rekonstruktsii istorii filosofii: R. Rorti i M. Merlo-Ponti* [Dilemma of internalism and externalism in context of reconstruction of history of philosophy: R. Rorty and M. Merleau-Ponty], *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*, 2014, no. 6-2, pp. 71-74. (in Russ.).

Demin I.V. *Filosofiya istorii v postmetafizicheskom kontekste* [The philosophy of history in post-metaphysical context], Samara, Samar. gumanit. akad., 2015, 251 p. (in Russ.).

Demin I.V. *Metafizika i postmetafizicheskoe myshlenie v zerkale istoriosofii: monografiya* [Metaphysics and post-metaphysical thinking in the mirror of historiosophy], Samara, Samar. gumanit. akad., 2016, 238 p. (in Russ.).

Demin I.V. *Printsip istorizma v filosofskoy kontseptsii Fridrikha fon Khayeka* [The principle of historicism in the philosophical concept of Friedrich von Hayek], *Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya: problemy i rezul'taty : sb. materialov Kh XVIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.*, Novosibirsk, Izd-vo Tsentra razvitiya nauch. Sotrudnichestva, 2016, pp. 87-92. (in Russ.).

Demin I.V. *Problema edinstva istorii v kontekste metafizicheskoy i postmetafizicheskoy filosofii* [The problem of the unity of history in the context of metaphysical and post-metaphysical philosophy], *XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus*, 2015, no. 6 (28), vol. 2, pp. 44-50. (in Russ.).

Demin I.V. *Razlichenie pervichnoy i vtorichnoy istorichnosti v metafizike L.P. Karsavina i v ekzistentsial'noy analitike M. Khaydeggera* [The distinction between primary and secondary historicity in Karsavin's metaphysics and in Heidegger's existential analytics], *Vestn. Samar. gumanit. akad. Seriya «Filosofiya. Filologiya»*, 2015, no. 1 (17), pp. 54-64. (in Russ.).

Filatov V.P., Vyshegorodceva O.V., Malahov V.S., Smirnova N.M., Kukarceva M.A. *Obsuzhdaem stat'i ob istorizme* [Discuss Article about Historicism], *Epistemologiya i filosofiya nauki*, 2007, vol. 12, no. 2, pp. 150-162. (in Russ.).

Frank S.L. *Dukhovnye osnovy obshchestva* [Spiritual Foundations of Society]. Moscow, Respublika, 1992, 510 p. (in Russ.).

Husserl E. *Izbrannye raboty* [Selected works], Moscow, Territoriya budushchego, 2005, 458 p. (in Russ.).

Janssens D. *Between Athens and Jerusalem. Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss's Early Thought*, Albany, State Univ. of New York Press, 2008, 258 p.

Jaspers K. *Smysl i naznachenie istorii* [The meaning and purpose of history], Moscow, Politizdat., 1991, 527 p. (in Russ.).

Norton A. *Leo Strauss and the Politics of American Empire*, Yale, Yale Univ. Press, 2004, 235 p.

Pangle T.L. *Leo Strauss an introduction to his thought and intellectual legacy*, Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 2006, 189 p.

Popper K. *Nishcheta istoritsizma* [The Poverty of Historicism], Moscow, Progress, 1993, 185 p. (in Russ.).

Rikkert G. *Nauki o prirode i nauki o kul'ture* [Natural sciences and cultural sciences], Moscow, Respublika, 1998, 413 p. (in Russ.).

Rutkevich A.M. *Politicheskaya filosofiya L. Shtrausa* [The political philosophy of Leo Strauss], *Shtraus L. O tiranii*, St. Petersburg, Izd-vo Sankt-Peterburg. gos. un-ta, 2006, pp. 7-38. (in Russ.).

Smith S. *Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism*, Chicago, Univ. of Chicago press, 2006, 268 p.

Strauss L. *Estestvennoe pravo i istoriya* [Natural law and history], Moscow, Vodoley Publishers, 2007, 312 p. (in Russ.).

Strauss L. *Germanskiy nihilizm* [German nihilism], *Politiko-filosofskiy ezhegodnik*, Moscow, In-t filosofii RAN, 2013, iss. 6, pp. 182-205. (in Russ.).

Strauss L. *O tiranii* [About tyranny], St. Petersburg, Izd-vo Sankt-Peterburg. gos. un-ta, 2006, 328 p. (in Russ.).

Strauss L. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiyu* [Introduction to Political Philosophy], Moscow, Logos, Praksis, 2000, 364 p. (in Russ.).

Troeltsch E. *Istorizm i ego problemy* [Historicism and its problems], Moscow, Yurist, 1994, 719 p. (in Russ.).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА POLITICAL SCIENCE



Фишман Л.Г. Российская государственность: в тени отсроченной революции? // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 37–50.

УДК 321

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.3750

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: В ТЕНИ ОТСРОЧЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ?¹

Леонид Гершевич Фишман

доктор политических наук, профессор РАН,
главный научный сотрудник отдела философии
Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург. E-mail: lfishman@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5062-8291

Материал поступил в редколлегию 15.03.2017 г.

Статья посвящена ответу на вопрос: какую роль играют отсылки к революции в легитимации современного Российского государства? Показано, что, уклоняясь от легитимации себя революциями, оно утверждает себя отсылкой к Современности. Российский политический режим не может себя легитимировать по отдельности ни одной из имевших место в нашей истории социальных революций, равно как и отсылкой к любой из западных революций. Поэтому он должен, при всех реверансах в сторону «духовных скреп», оправдывать себя отсылками к *Современности в целом*. При этом Современность утилитарно понимается как результат частных неполитических революций и применения политических технологий. Кроме того, отсылка к стабильности и традиции сегодня – это все та же замаскированная

¹ Статья подготовлена при поддержке исследовательского проекта ИФИП УрО РАН РАН № 18-6-6-9 «Фундаментальные проблемы правовой и морально-политической регуляции современных обществ в национальном и глобальном аспекте».

отсылка к Современности. Российское государство построено в интересах правящей элиты, которая хотела бы пользоваться благами Современности сама, не заботясь о приобщении к ним большинства. Однако государство, которое хочет имитировать свою идентичность Современности отсылками к частным «малым революциям», сталкивается с тем, что Современность содержит в себе неустранимую отсылку к революции в социальном и политическом смысле, – революции, которая делает достижения частных революций Современности доступными для большинства.

Ключевые слова: Современность, государство, революция, контрреволюция, легитимация, правящая элита.

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос: какую роль играют отсылки к революции в легитимации современного Российского государства?¹ Может показаться, что Российское государство не нуждается в такого рода легитимации, о чем свидетельствует его весьма осторожное, нацеленное на сглаживание острых моментов отношение ко всем имевшим место в нашей истории революциям. Более того, официальная риторика, обличающая «цветные революции» и «майданы» последних лет, откровенно «контрреволюционна». Тем не менее ситуация представляется несколько более сложной. Мы постараемся в дальнейшем показать, что российское государство легитимирует себя таким образом, что чем дальше, тем больше оказывается в тени отсроченной революции.

Закономерен вопрос: насколько актуален концепт революции для легитимации современных государств? Да, многие современные государства возводят себя (именно как современные) к революционным событиям. Но не стали ли теперь сами эти события чистой абстракцией, а отсылка к ним – простым ритуалом? В конце концов, как замечает С.Г. Ильинская, «в современном мире радикально изменились структуры подавления и угнетения, и сегодня мы имеем дело с иным господством, глобального свойства, вследствие чего понятие революции (как легитимное ниспровержение власти народом-сувереном) исчерпало себя, поскольку состоит из сплошных фикций» [Ильинская 2015:78]. Действительно, отсылки к революциям в значительной мере ритуальны. Однако истоки всякой легитимности современных государств восходят **не только к конкретным революционным актам**, но и к общему представлению о **Современности как совокупности результатов разных революций**. Кроме того, ритуальная отсылка к революции становится чем-то большим, когда речь заходит о современных социальных проблемах, кризисах, смене политических режимов и т.д. И уж тем более она актуальна для России, не так давно пережившей что-то вроде революции, по поводу завершенности которой периодически возникают сомнения.

Прежде всего необходимо уточнить, что мы здесь понимаем под «современным государством/государственностью». Его спецификой является ориентация на социальное, экономическое, политическое ре-

¹ Вопрос о том, что правомерно называть революцией, а что нет, давно стал предметом отдельных дискуссий. Поэтому сразу уточним, что здесь мы понимаем под революциями политические перевороты, которые влекут за собой значимые социальные последствия.

гулирование в интересах большинства, что нередко осмысливается как приверженность демократии или устремленность к достижению блага народа. Разумеется, тут можно и нужно привести оговорки насчет того, каким образом понимаются эти интересы, что под ними скрывается, всегда ли они в действительности оказываются интересами именно большинства или же навязаны ему теми социальными группами, которые и в «обществах открытого доступа» обладают несколько более открытым доступом к различным ресурсам, нежели остальные. Также следует отметить, что указанное выше понимание Современности скорее относится к эпохе ее расцвета – 1950–1970-м гг., тогда как в эпоху торжества неолиберальной глобализации многие ее достижения оказались подорваны или поставлены под сомнение. Тем менее формально государства, считающиеся современными, учреждаются и функционируют в интересах большинства – в противном случае они утратили бы львиную долю своей легитимности; все сомнения в их легитимности (выражаемые в категориях кризиса демократии) обычно своим источником имеют подозрение, что государство теперь действует в интересах какого-то меньшинства, а не большинства.

Отсюда вытекает необходимость на символическом и идеологическом уровне обосновывать легитимность государства отсылками к тем событиям и процессам, которые привели к такому пониманию легитимности государства.

В самом общем смысле совокупность этих событий и процессов является Современностью, которая осмысливается как результат наложения друг на друга множества революций – социально-политических и не только.

Начнем с первых.

Всякое современное государство так или иначе легитимирует себя результатами революций – если не пережитых в собственной истории, то чужих. Речь идет о традиции великих буржуазных революций, которые заложили политические и во многом моральные основания того, что называется Современностью. На такой же статус может претендовать и Великая Октябрьская социалистическая революция в той мере, в которой ее результатом стало возникновение советской «незападной модерности» [Эйзенштадт 1999] или «нелиберальной модерности» [Дэвид-Фокс 2016].

Сказанное выше не означает, что всякое современное государство легитимирует себя непосредственно какой-то социальной или политической великой революцией, имевшей место в его истории. Даже там, где такие революции происходили, к ним нередко бывает неоднозначное отношение. Хотя с течением времени и складывается консенсус по отношению к роли революций в возникновении в этих странах «современного государства», способы легитимации последнего отсылают не непосредственно к самим революциям, но, скорее, к их плодам, равно как и к той интеллектуальной (идеологической) парадигме, в рамках которой они были осмыслены (в том числе к таким двойственным «плодам», как национализм и т.д.).

Кроме того, во многих, в частности европейских, государствах своих великих революций не было. На некоторые из них оказали влияние революции

чужие (в первую очередь, Великая Французская), другие обошлись «революциями сверху», встав на догоняющий путь развития, третьи вовсе не знали революций, довольствуясь реформами, и т.д. Характерно, однако, что в парадигме модернизации даже весьма разные пути к Современности: западный («соединение капитализма и парламентской демократии»), фашистский («проходящий в реакционных политических формах») и «коммунистический» – могут определяться как революционные, соответственно как буржуазная, консервативная и крестьянская революции [Мур 2016: 371].

Наконец, легитимация современной государственности не сводится к отсылке только к политическим и социальным революциям и их идеологическим плодам. Современные государства, как ни тавтологично это звучит, находят свои основания ... в Современности, понимаемой как результат наложения друг на друга множества разного рода революций. Как замечает В. Куренной, «буржуазная система приобрела невиданную устойчивость за счет того, что смогла сделать революцию имманентным структурным моментом своего существования» [Куренной 2008: 225]. Совокупность множества революций осмысливается как непрерывная модернизация, которая «...оказывается уже не путем к какому-то (институционально и нормативно) определенному состоянию, признаваемому “полностью современным”, а собственным способом существования Современности – ведь любые институты и воззрения, которые сегодня считаются “фирменным знаком” Современности, могут завтра стать “пределами”, подлежащими преодолению. Но если бесконечная (в условиях Современности) модернизация способна устранять “все застывшие отношения”, перешагивать любые пределы развития, то чем она отличается от “революции”, если ее мыслить “перманентной” и не привязывать “догматически” к событийной форме ее протекания и насильственным методам осуществления? Ничем» [Капустин].

Таким образом, Современность наиболее адекватно может быть осмыслена через понятие революции. «Справедливым является замечание, – пишут М. Одесский и Д. Фельдман, – согласно которому “революцию вполне можно назвать символом новейшей истории, ключевым ее понятием”. В нем находят воплощение как базовые ценности, так и структурные ориентации современности как Modernity. ... Пожалуй, трудно найти контекст, в котором бы не использовалось это слово: политическая революция, духовная революция, культурная революция, научно-техническая революция, сексуальная революция и т.д.» [Одесский, Фельдман 1994: 68]. Список может пополнить множество других революций – гендерная, семейная, военная, промышленная (и не одна, вплоть до «четвертой промышленной революции»), информационная и т.д. Как «тихая революция» интерпретируется и процесс, суть которого, по Р. Инглхарту, заключается в том, что с течением времени в странах Запада число «материалистов» сокращается, а «постматериалистов» – растет [Инглхарт, Вельцель 2011].

С этой точки зрения может показаться, что принадлежность к Современности не имеет прямой связи с дискурсом социальной и политической революции, но не может избежать отсылки к дискурсу революции в целом,

описывающему качественные изменения и скачки в самых разных сферах, которые Современность породили и продолжают порождать ежечасно. Приобщение к Современности тогда выступает как приобщение в первую очередь к плодам всех этих частных революций.

Тем не менее Современность в «неурезанном» виде характеризуется тем, что плоды ее частных революций становятся доступными для большинства, которое этими плодами изначально было несправедливо обделено. Социальные революции являются неустранимой частью Современности, поскольку, как отмечает Д. Голдстоун, они совершаются «во имя социальной справедливости и создания новых политических институтов» [Голдстоун 2015: 15]. Это означает, что их идеологические обоснования (демократические, коммунистические и даже, с оговорками, фашистские) могут представляться вторичными по содержанию, что, собственно, и делает возможным наличие вариантов альтернативной модерности. Однако второстепенно только содержание, но не общая установка: тем или иным образом обосновать правомерность доступа большинства к плодам частных революций Современности, равно как и обеспечить функционирование социальных и политических институтов, которые такой доступ гарантируют. Таким образом, «неурезанная» Современность в любом случае представляет собой результат сочетания следствий как частных, так и политических и социальных революций, а современное государство, если оно хочет оставаться таковым, все-таки должно черпать свою легитимность в отсылках к революциям политическим и социальным.

Итак, российский политический режим должен явным или неявным образом легитимировать себя революцией, если он хочет выглядеть современным. Проблема заключается в том, что если речь идет о революциях социально-политических, то с ними у нашего политического режима отношения запутанные и сложные. Та из них, в результате которой после октября 1917 г. возник вариант нашей «современной» (модерновой) государственности и которой наш политический режим во многом наследует, по разным причинам не может быть поднята на щит. С самого начала была отвергнута легитимация путем апелляции к Октябрьской революции, день празднования которой сперва переименовали, а затем и вовсе заменили ее на искусственный праздник 4 ноября.

Революция же 1990-х гг., если судить по итогам, варианта современной государственности не создала¹. Прежде всего, она так и не стала революцией большинства и для большинства. В смысле общей направленности господствовавшего в 1990-е гг. дискурса это была не революция, а нечто обратное

¹ Не у многих поворачивался язык без всяких оговорок описывать события 1990-х как революцию. Больше напрашивались ассоциации с «катастрофой», «травмой» [Тощенко 2015: 49]. Но даже если устами апологетов процессы 1990-х гг. трактовались как революция, то режим, установившийся после нее (с которым мы имеем дело), вызывал у них ассоциации с постреволюционной диктатурой в духе Кромвеля или Наполеона [Стародубовская, Мау 2004]. А у таких диктатур, ориентированных на «порядок» и «стабильность», сложные отношения с революциями, их породившими, поскольку они себя позиционируют скорее через противопоставление революциям, чем черпают в них свою легитимность.

ей. Она позиционировала себя в парадигме риторики возврата на некий магистральный путь истории, риторики разрыва с предыдущим разрывом. Поэтому ее часто описывают как контрреволюцию или реставрацию, даже если и не придерживаются просоветских взглядов. Но реставрацию чего? Явно не отечественной либерально-демократической традиции, которой почти не было, и не порядков дореволюционного времени. Была ли это попытка присоединения к чужой революционной традиции – буржуазно-демократической, европейской и американской? До определенной степени и только вначале. В дальнейшем обострение отношений с Западом, а также борьба с «цветными революциями» свели на нет и это стремление на символическом и идеологическом уровне.

В итоге вместо традиции легитимировать политический и общественный строй отсылкой к социально-политической революции, соответствующей Современности, взамен отсутствующей революции скоро образовалось символически пустое место, которое было заполнено риторикой государственности, державности, бюрократизмом, отчасти советской, отчасти царской символикой и т.д. – все это при сохранении восходящей к Современности конституционной либеральной основы.

При этом периодически говорили о необходимости морального консенсуса в нашем обществе. Сам по себе консенсус пуст, он основан на молчаливом согласии с чем-то. В современном обществе он образовывается на основе согласия с результатами революции и теми ценностными сдвигами, которые она произвела. Морально-политические следствия революции 1917 г. правящая элита по понятным причинам с самого начала не принимала, а 1990-е гг. в этом смысле и сами были пустым местом, отражая скорее моральный коллапс позднего советского общества. Поэтому в нашем обществе, по мере того как были гласно или молчаливо отвергнуты все возможности революционной легитимации существующего порядка вещей, в какой-то степени образовался консенсус, но только негативный. Он заключается в согласии (отчасти вынужденном) на то, что не нужно глубоко, всерьез и последовательно обсуждать вопросы моральной и идеологической легитимности существующего строя. Это прерывается временами в виде инициатив ограничить обсуждение каких-то тем, ввести запреты на какие-то точки зрения, принятием законов, в соответствии с которыми почти все можно объявить экстремизмом и т.д. – в общем, сделать все возможное для того, чтобы пустое место и впредь оставалось пустым.

Чему же тогда соответствует это символически пустое место? Очевидно какой-то версии не-Современности (точнее, не-современного государства) или урезанной современности. Как замечает В.С. Мартыянов, «в интеллектуальном пространстве в интересах действующих элит воскрешается, казалось бы, давно ушедшая в небытие матрица феодализма и патриархальности. ... Это система осуществления власти, контроля территории и ресурсов, предполагающая иерархическую лестницу персональной преданности и неформальных, в том числе родственных, связей малочисленного сословия, резко отделенного от остальной массы населения, но тем не менее отождест-

вляющего свои интересы с государственными, в противовес модернистской политике, где отношения представителей власти достаточно обезличены и формализованы, а полномочия и компетенции элит ограничены, осуществляясь в легальном, рациональном, публичном пространстве» [Мартьянов 2010: 51]. Нарастающее понимание этого отразилось в наших общественных науках, что реализуется в описании российского государства и общества в терминах феодализма [Шляпентох 2008], сословности [Кордонский 2008], патримониальности [Фисун 2010]. При этом, прибегая к феодальным метафорам, «историки все чаще отмечают, что понятие “феодализм” соотносится не столько с конкретными средневековыми реалиями, сколько с общей моделью определенным образом организованных социальных и политических институтов» [Мартьянов, Фишман 2016: 203]. И эти институты однозначно не современные. Последняя из таких метафор – государство-«дворец». В ее свете российское государство описывается как однозначно не обслуживающее нужды всего общества в «буржуазном» (Февральская революция) или «коммунистическом» (Октябрьская революция) формате. Оно даже не «служилое» и потому боится прибегать к мобилизации, которая заставила бы служить «корпорацию» бюрократов-владельцев. С точки зрения И. Глебовой, в течение 1990-х гг. выбор между «дворцом» и «чем-то более современным, адекватным идее государства», был сделан не в пользу последнего [Глебова 2016: 121].

Однако если наше государство – не вполне государство в современном понимании, то закономерно возникает вопрос о необходимости восстановления русской государственности, например путем смены ее культурной парадигмы. Показательно, что такое восстановление связывается с революцией [Пастухов 2009: 133], тогда как государственная политика и поддерживающий ее официальный дискурс характеризуются как явно «контрреволюционные» [Соловей 2016: 153-161].

Избавиться от революции, правда, окончательно невозможно, поскольку сама Современность представляет собой комплекс революционных процессов. Некий набор современных и поэтому восходящих к революции идей сегодня требуется для любого государства, даже не совсем современного – хотя бы для того, чтобы имитировать современность. В этом смысле и вызывающая ассоциации с реставрацией и контрреволюцией революция 1990-х все же не была однозначно пустым местом: риторика возвращения на историческую магистраль во многом выражала стремление вернуться к *Современности вообще*, которая латентным образом включает в себя и революционную составляющую. Выросшая из этой революции политическая элита государства-«дворца», которая испытывает нужду в легитимации *принадлежностью-к-Современности*, «успокаивает» революционную составляющую, смещая акцент на разного рода частные революции.

Может ли быть эффективной такого рода легитимация? В конце концов, для большинства Современность имеет значение именно в потребительски-гедонистическом смысле. И если государство обеспечивает такое приобщение к Современности для большинства, то вопросы идеологии и морали,

связанные с его легитимностью, отступают назад. Такое государство, будучи ориентированным на большинство, все равно современно и основано на революции, как были современны коммунистические режимы и другие варианты «нелиберальной модерности». В принципе, по такому пути не прочь было пойти наше государство, и оно шло по нему в период высоких цен на нефть, но инстинкты и интересы его элиты заставляют ее в любом спорном случае перетягивать одеяло на себя, на сторону «дворца».

Невозможность последовательно легитимировать себя политически-революционным аспектом Современности побуждает использовать отсылки к научным, культурным, инновационным и прочим революциям, определяющим ее облик. Это, правда, не меняет характера нашей государственности, которая уже откровенно цинично действует в интересах меньшинства. Данное меньшинство постоянно рассчитывает на то, что ему удастся безопасным для себя образом утилизировать утопический потенциал некоторых из революций современности, представляя, например, «информационную революцию» как аспект «управленческой идеологии» в парадигме «электронного правительства» [Трахтенберг 2011]. В конечном счете, все это сводится к риторике модернизации – версии революции без революции или перманентной революции, в которой можно участвовать вечно. Такого рода частные революции призваны производить впечатление, что политические и социальные революции и вовсе не нужны. Они очень даже полезны и удобны, их можно присвоить и приватизировать, потребить в буквальном смысле. К революциям такого рода элита может апеллировать без опаски, поскольку они прямо импонируют государству-«дворцу» своими плодами, ценными с гедонистически-потребительской точки зрения. И. Глебова в связи с этим отмечает, что создатели государства-«дворца» придали «творению» новый смысл: это «модернизация быта (за счет заимствования улучшающих его западных технологий) и всеобщее потребление», а также «привлекли еще национализм, призванный заменить советскую идею социальной справедливости и компенсировать великодержавные комплексы» [Глебова 2016: 121].

Проблема заключается в том, что наша элита хотела бы остаться причастной к Современности (модерности) сама, не заботясь о приобщении к ней большинства. Поэтому государство, построенное в интересах элиты, по мере того как исчезает его социальная составляющая, все дальше выходит за пределы Современности, не являясь даже ее альтернативным вариантом. Оно не может в полной мере легитимировать себя ни Февралем, ни Октябрем, ни августом 1991 г., поскольку все эти революции либо затевались ради большинства, либо обещали ему приобщение к плодам Современности – хотя бы в виде «модернизации быта и всеобщего потребления», которые именно для большинства становятся все менее доступными. Показательно и официальное отношение к советскому периоду нашей истории как к времени, когда была создана мощная индустрия, одержаны великие победы и построена великая держава. Социальные достижения советского периода – это можно заключить из некоторых

пассажей Д. Медведева¹ и В. Путина² – уравниваются с плодами частных революций Современности и преподносятся исключительно в качестве «технических» и «бытовых» достижений, могущих «устареть» и быть столь же «технически» замененными новыми, более «современными». «Историческая преемственность», о которой так любят говорить, фактически оказывается преемственностью заменяемых технологий.

Можно сказать, что специфика мировоззрения нашей правящей элиты заключается даже не в том, что она игнорирует социально-политическую составляющую модерности. Нет, она ее не игнорирует, но, по аналогии с отношением к плодам частных революций, видит в ней своего рода «сумму политических технологий». С этой точки зрения и коммунистическая идеология, и либерально-демократическая риторика, и национализм трактуются преимущественно как взаимозаменяемые технологии манипулирования массами, которые, дегуманизируясь, воспринимаются только в виде объекта применения этих технологий. Поэтому и угрожающие политические стратегии и идеи стремятся свести к технологиям, разоблачая таким образом их «истинную» подоплеку, как это делается, к примеру, по отношению к «цветным революциям»³ или «тоталитарным сектам». По-видимому, взгляд потребителя-гедониста из окошка государства-«дворца» способен уловить в Современности только этот ее «технический» аспект и мы в данном случае имеем дело с типичным проявлением «классовой ограниченности».

Иными словами, для элит нашего ограниченно современного государства исключительно важна легитимация Современностью и даже революцией как ее неотъемлемой составляющей. Однако Современность сводится исключительно к «сумме технологий», в том числе политических и социальных – иногда полезных, иногда опасных. Техническое отношение к революционному содержанию Современности заключается в том, что из всей совокупности революций (и не только частных) можно выбрать подходящие и отвергнуть неподходящие. Так же и из всех социально-политических революций можно попытаться выбрать абстрактную «техническую» составляющую Современности и поэтому легитимировать себя всеми имеющимися революциями разом, не присягая в верности ни к одной. При этом, правда, остается риск, что несводимое к техническому аспекту содержание этой Современности рано или поздно вновь станет актуальным. Однако

¹ «Мы, современные поколения российского народа, получили большое наследство. Заслуженное, завоеванное, заработанное упорными усилиями наших предшественников. Иногда ценой тяжелых испытаний и действительно страшных жертв. Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием» [Медведев].

² «Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого» [Замахина 2016].

³ Которые описываются в характерном технологическом ключе – как результаты применения новейших информационных технологий («твиттерная», «фейсбучная», «Интернет-революция»).

только в таком виде наша элита способна усвоить Современность и «приватизировать» ее.

Но тогда получается, что эта элита и формирование нужного ей облика государства должна рассматривать как результат применения одной из таких революционных, но обоюдоострых технологий. По сути, если она хочет быть последовательной, она должна и события 1990-х осмысливать как такую же «цветную революцию», которым она оппонирует. Но легитимировать себя отсылкой к «цветной революции» по понятным причинам невозможно. Однако невозможно и полностью отказаться от отсылок к Февралю и Октябрю – хотя бы ради «технической» составляющей олицетворяемой ими Современности.

* * *

Заключая, мы можем сказать, что легитимационные проблемы и сложности, которые возникают у российского государства, когда оно пытается определиться по отношению к революции, связаны не с тем, что оно якобы «контрреволюционно». Наш политический режим скорее не контрреволюционный, а «термидорианский». Он порожден противоречивой революцией 1990-х гг., главным бенефициаром которой стало явное меньшинство, но которая писала на своих знаменах, что хочет приобщить к Современности большинство. В силу этой противоречивости наш политический режим не может себя легитимировать ни одной отдельно взятой из имевших место в нашей истории социальных революций, ни всеми тремя разом, ни отсылкой к западным революциям. Поэтому он должен, при всех реверансах в сторону «духовных скреп», оправдывать себя отсылками к *Современности в целом*, утилитарно понимаемой как результат частных неполитических революций и применения политических технологий. В интересах элит государства-«дворца» – свести Современность только к сумме технологий. Однако тут они наталкиваются на неявные, но существенные ограничения, потому что Современность все же сумма не только технологий и мелких улучшений, но и институтов со всей их морально-политической подоплекой, которые делают эту сумму доступной большинству.

Нынешнее российское государство, оппонируя «майदानам» и «цветным революциям», выступает с точки зрения конституционности, легитимности и законности. Но все эти понятия восходят к постулату о воле народа как высшем и последнем источнике легитимности государственной власти. Сам же этот постулат имеет отчетливый революционный бэкграунд. Политический режим легитимен, если он конституционен. Конституционен он потому, что опирается на народное волеизъявление. Опирается он на народное волеизъявление потому, что народ есть источник всякой власти. А народ есть источник всякой власти потому, что имеет естественное право на свержение негодных ему правителей – на революцию. Круг замыкается, и мы видим, что актуальный контрреволюционный дискурс, призванный убедить всех и каждого в том, что революций на самом деле не бывает, а есть только заговоры и катастрофы, в конечном счете апеллирует к имманентно революционным идеологемам. Впечатление усиливается еще больше,

поскольку вся конспирологическая риторика против «цветных революций» сводится к утверждению, что это ... не настоящие революции, ибо в них задействован не народ, а «агенты влияния». Таким образом, приходится допускать и невольно оправдывать настоящие революции, то есть революции для большинства, чистоту которых официозный «контрреволюционный» дискурс вынужден парадоксальным образом отстаивать.

Тень революции оказывает гораздо большее влияние на обстоятельства самолегитимации российского государства, чем может показаться при поверхностном взгляде. Взгляд этот фокусируется на приемах легитимации посредством отсылки к стабильности и традиции. *Но сегодня такого рода отсылки – это отсылки к постоянно меняющимся представлениям об условиях поддержания стабильности, а также к традиции, корни которой давно уже не лежат в каком-то мифическом «старом порядке», а являются следствиями ряда больших и маленьких революций, плодами осознанного или полуосознанного «изобретения».* Отсылка к стабильности и традиции сегодня – это все та же замаскированная отсылка к Современности, в подоплеке которой обнаруживаются либо революции, либо их следствия, либо реагирование на них, либо стремление упредить их реформами.

Чтобы уклониться от легитимации революцией, наш политический режим пытается найти свои основания непосредственно в Современности. Но государство, которое хочет имитировать свою современность отсылками к частным «малым революциям», сталкивается с тем, что Современность содержит в себе неустранимую отсылку к революции в социальном и политическом смысле – к «большой революции». Перефразируя Бодрийера, можно сказать, что любое современное государство живет отсроченной «большой» революцией – поскольку у него есть механизмы распределения благ частных («малых») революций в пользу большинства. Наше государство в период высоких цен на нефть могло только воображать себя таким же, тогда как в действительности благоприятная экономическая конъюнктура просто компенсировала его сомнительную современность государства для меньшинства. Но чем явственней *имитация* Современности, тем меньше отсрочка «большой революции» и тем гуще бросаема ею тень.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Глебова И. 2016. «Дворцовое государство» в современной России // Політичні інститути та процеси. № 1 (102). С. 101-127.

Голдстоун Д. 2015. Революции. Очень краткое введение. М. : Изд-во Ин-та Гайдара. 192 с.

Дэвид-Фокс М. 2016. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое лит. обозрение. № 4 (140). С. 19-44.

Замахина Т. 2016. Путин: СССР не надо было разваливать [Электронный ресурс] // Рос. газ. 23 сент. URL: <https://rg.ru/2016/09/23/reg-cfo/putin-sssr-ne-nado-bylo-razvalivat.html> (дата обращения: 13.03.2017).

Ильинская С.Г. 2015. Реквием по революции // Революция как концепт и событие : моногр. / редкол.: А.А. Вартумян, С.Г. Ильинская, М.М. Федорова. М. : Центральное изд-во учеб.-метод. и науч. лит. С. 64-80.

Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М. : Новое изд-во. 464 с.

Капустин Б.Г. Революция и Современность [Электронный ресурс]. URL: <https://fil.wikireading.ru/53808> (дата обращения: 13.03.2017).

Кордонский С.Г. 2008. Сословная структура постсоветской России. М. : Ин-т Фонда «Обществ. мнение». 216 с.

Куренной В. 2008. Перманентная буржуазная революция // Концепт «революция» в современном политическом дискурсе / под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб. : Алетейя. С. 216-231.

Мартьянов В.С. 2010. Инволюция элиты в обществе модерна // ПОЛИТЭКС : Полит. экспертиза. Т. 6, № 3. С. 34-56.

Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. (ред.) 2016. Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В.С. Мартьянова, Л.Г. Фишмана. М. : Полит. энцикл. 334 с.

Медведев Д.А. Россия, вперед! [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413> (дата обращения: 13.03.2017).

Мур Б. мл. 2016. Социальные истоки диктатуры и демократии. М. : Изд-во Высш. шк. экономики. 488 с.

Одесский М., Фельдман Д. 1994. Революция как идеологема (к истории формирования) // ОНС : Обществ. науки и современность. № 2. С. 68-77.

Пастухов В.Б. 2009. Медведев и Путин: Двоемыслие как альтернатива двоевластию. Послесловие политического циника к дискуссии о либеральном повороте // ПОЛИС : Полит. исслед. № 6 (114). С. 119-139.

Соловей В.Д. 2016. Revolution! Основы революционной борьбы в современную эпоху. М. : ЭКСМО. 320 с.

Стародубовская И.В., Мау В.А. 2004. Великие революции: от Кромвеля до Путина. М. : Вагриус. 512 с.

Тощенко Ж.Т. 2015. Фантомы российского общества. М. : Центр социал. прогнозирования и маркетинга. 668 с.

Трахтенберг А.Д. 2011. Электронное правительство: технократическая утопия или востребованная структура? // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Вып. 11. С. 253-270.

Фисун А.А. 2010. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация // Полит. концептология. № 4. С. 158-187.

Шляпентох В. 2008. Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры. М. : Столица-Принт. 367 с.

Эйзенштадт Ш. 1999. Революция и преобразование обществ. М. : Аспект-Пресс. 416 с.



L. Fishman. Rossiyskaya gosudarstvennost': v teni otsrochennoy revolyutsii? [Russian statehood: in shadow of delayed revolution?], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 37-50. (in Russ.).

Leonid G. Fishman, Doctor of Political Sciences, Professor of Russian Academy of Sciences, Leading Researcher, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg. E-mail: lfishman@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0001-5062-8291

RUSSIAN STATEHOOD: IN SHADOW OF DELAYED REVOLUTION?

Abstract. The article is devoted to the question: what role do references to the revolution play in legitimizing the modern Russian state? The author shows that by evading legitimating oneself by revolutions it legitimizes itself by referring to Modernity. The Russian political regime cannot legitimize itself separately neither by any of the social revolutions that have taken place in our history, nor by a reference to the Western revolutions. Therefore, it must (with all the reverence towards “spiritual bonds”), justify itself with references to “Modernity in general”. At the same time, in utilitarian terms Modernity is the result of private non-political revolutions, and the use of political technologies. Today, the reference to stability and tradition is still the same disguised reference to Modernity. The Russian state is built in the interests of the ruling elite, which itself would like to enjoy benefits of Modernity, not caring about accustoming the majority to these benefits. However, a state that wants to imitate its modernity with references to the domain “small revolutions” faces the fact that Modernity contains an irremovable reference to revolution in the social and political sense – a revolution that makes the achievements of domain revolutions of Modernity available to the majority.

Keywords: Modernity, state, revolution, counterrevolution, legitimation, ruling elite.

References

- David-Fox M. *Modernost' v Rossii i SSSR: otsutstvuyushchaya, obshchaya, al'ternativnaya ili perepletennaya?* [Modernity in Russia and the USSR: absent, General, alternative or twisted?], *Novoe lit. obozrenie*, 2016, no. 4 (140), pp. 19-44. (in Russ.).
- Eisenstadt S. *Revolyutsiya i preobrazovanie obshchestv* [Revolution and the Transformation of Societies], Moscow, Aspekt-Press, 1999, 416 p. (in Russ.).
- Fisun A.A. *K pereosmysleniyu postsovetskoy politiki: neopatrimonial'naya interpretatsiya* [To rethinking post-Soviet politics: neopatrimonial interpretation], *Polit. kontseptologiya*, 2010, no. 4, pp. 158-187. (in Russ.).
- Glebova I. «Dvortsovoe gosudarstvo» v sovremennoy Rossii [«The Palace state» in modern Russia], *Politichni instituti ta protsesi*, 2016, no. 1 (102), pp. 101-127. (in Russ.).
- Goldstone J.A. *Revolyutsii. Ochen' kratkoe vvedenie* [Revolutions. A Very Short Introduction], Moscow, Izd-vo In-ta Gaydara, 2015, 192 p. (in Russ.).
- Il'inskaya S.G. *Rekvium po revolyutsii* [Requiem for revolution], A.A. Vartumyan, S.G. Il'inskaya, M.M. Fedorova (eds.) *Revolyutsiya kak kontsept i sobytie : monogr.*, Moscow, Tsentral'noe izd-vo ucheb.-metod. i nauch. lit., 2015, pp. 64-80. (in Russ.).
- Inglehart R., Welzel C. *Modernizatsiya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence], Moscow, Novoe izd-vo, 2011, 464 p. (in Russ.).
- Kapustin B.G. *Revolyutsiya i Sovremennost'* [The Revolution and Modernity], available at: <https://fil.wikireading.ru/53808> (accessed 13 March 2017). (in Russ.).
- Kordonskiy S.G. *Soslovnaya struktura postsovetskoy Rossii* [Class structure of post-Soviet Russia], Moscow, In-t Fonda «Obshchestv. mnenie», 2008, 216 p. (in Russ.).
- Kurennoy V. *Permanentnaya burzhuaznaya revolyutsiya* [Permanent revolution], L.E. Blyakher, B.V. Mezhuev, A.V. Pavlov (eds.) *Kontsept «revolyutsiya» v sovremennoy politicheskom diskurse*, St. Petersburg, Aleteyya, 2008, pp. 216-231. (in Russ.).

Martyanov V.S. *Involutsiya elity v obshchestve moderna* [The Involution of the elite in the modern society], *POLITEKS : Polit. ekspertiza*, 2010, vol. 6, no. 3, pp. 34-56. (in Russ.).

Martyanov V.S., Fishman L.G. (red.) *Rossiya v poiskakh ideologii: transformatsiya tsennostnykh regulyatorov sovremennykh obshchestv* [Russia in Search of Ideologies: the Transformation of Value Regulators of Modern Societies], Moscow, Polit. entsikl., 2016, 334 p. (in Russ.).

Medvedev D.A. *Rossiya, vpered!* [Russia, forward!], available at: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413> (accessed 13 March 2017). (in Russ.).

Moore Barrington Jr. *Sotsial'nye istoki diktatury i demokratii* [Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World], Moscow, Izd-vo Vyssh. shk. ekonomiki, 2016, 488 p. (in Russ.).

Odessky M., Feldman D. *Revolutsiya kak ideologema (k istorii formirovaniya)* [Revolution as ideologue (shaping)], *ONS : Obshchestv. nauki i sovremennost'*, 1994, no. 2, pp. 68-77. (in Russ.).

Pastukhov V.B. *Medvedev i Putin: Dvoemyslie kak al'ternativa dvoevlastiyu. Posleslovie politicheskogo tsinika k diskussii o liberal'nom povorote* [Medvedev and Putin: Doublethink as an alternative to dual power. Epilogue political cynic to the debate about liberal turn], *POLIS : Polit. issled.*, 2009, no. 6 (114), pp. 119-139. (in Russ.).

Shlyapentokh V. *Sovremennaya Rossiya kak feodal'noe obshchestvo. Novyy rakurs postsovetskoy ery* [Contemporary Russia as a feudal society: a new perspective on the post-Soviet era], Moscow, Stolitsa-Print, 2008, 367 p. (in Russ.).

Solovei V.D. *Revolutsion! Osnovy revolyutsionnoy bor'by v sovremennuyu epokhu* [Revolution! The foundations of the revolutionary struggle in the modern era], Moscow, EKSMO, 2016, 320 p. (in Russ.).

Starodubovskaya I.V., Mau V.A. *Velikie revolyutsii: ot Kromvelya do Putina* [Great revolutions from Cromwell to Putin], Moscow, Vagrius, 2004, 512 p. (in Russ.).

Toshchenko Zh.T. *Fantomy rossiyskogo obshchestva* [Phantoms of Russian society], Moscow, Tsentr sotsial. prognozirovaniya i marketinga, 2015, 668 p. (in Russ.).

Trachtenberg A.D. *Elektronnoe pravitel'stvo: tekhnokraticeskaya utopiya ili vostrebovannaya struktura?* [E-government: technocratic utopia or in demand structure?], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2011, iss. 11, pp. 253-270. (in Russ.).

Zamakhina T. *Putin: SSSR ne nado bylo razvalivat'* [Putin: the Soviet Union did not have to collapse], *Ros. gaz.*, 2016, 23 Sept., available at: <https://rg.ru/2016/09/23/reg-cfo/putin-sssr-ne-nado-bylo-razvalivat.html> (accessed 13 March 2017). (in Russ.).



Мельников К.В. Неопатримониализм в контексте типологии политических режимов // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 51–66.

УДК 321.6.8

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.5166

НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Кирилл Вадимович Мельников

аспирант Института философии и права

УрО РАН, г. Екатеринбург.

Email: melnikovrezh@gmail.com

Материал поступил в редколлегию 28.03.2017 г.

Концепция неопатримониализма, сформировавшаяся как ответ на неочевидность основных предположений парадигмы демократического транзита, приобрела большую популярность при анализе политического развития государств Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и постсоветских государств. Однако взрывной рост исследований, применяющих концепцию неопатримониализма в качестве теоретической основы, начал вызывать у исследователей опасения, связанные с «размыванием» содержания концепта и утратой его эвристического потенциала. К числу наиболее принципиальных моментов в этой связи относится вопрос соотношения концепции неопатримониализма с категорией политического режима. Данная проблема имеет два значимых аспекта. Во-первых, важно определиться, является ли неопатримониализм сам по себе разновидностью политического режима. Отрицательный ответ на этот вопрос подразумевает необходимость установить, какой категорией политической науки он выступает. Во-вторых, важно установить, каким образом соотносится неопатримониализм с существующей типологией политических режимов. Являются ли естественной средой для неопатримониализма авторитарные режимы или неопатримониализм может быть обнаружен в любой точке шкалы между авторитаризмом и демократией?

Статья состоит из двух частей, соответствующих обозначенным аспектам. В первой части автор анализирует сложившиеся обозначения неопатримониализма как политического режима, политической системы, политического порядка и делает вывод о том, что неопатримониализм представляет собой тип политического доминирования, складывающийся из двух идеальных типов легитимной власти по М. Веберу – рационально-легального и патримониального. Во второй части рассматриваются исследовательские подходы к проблеме существования неопатримониализма в разных типах политических режимов. Учитывая концепты «неопатримониальной демократии» А. Фисуна и типологию государств «серой зоны» Т. Карозерса, автор считает неоправданной идею отождествления авторитаризма и неопатримониализма. Обобщение опыта дебатов о соотношении неопатримониализма с типологией политических режимов позволяет сделать вывод о том, что стремление поставить их в строгое соответствие абсолютно непродуктивно. Скорее, категория

неопатримониализма дает возможность задать другое измерение для политических систем, анализируя степень частного присвоения публичной сферы и новые формы конструирования традиционного типа доминирования в современности, причем подобные явления могут сочетаться как с авторитарными, так и с демократическими практиками.

Ключевые слова: неопатримониализм, патримониализм, политический режим, неопатримониальная демократия, легитимное господство.

Концепция неопатримониализма приобрела популярность в исследовательской среде по большей части в связи с анализом стран Африки и Латинской Америки, в которых формирование политического режима существенно контрастировало с доминировавшей исследовательской парадигмой транзита. Политическое развитие государств, освободившихся от колониального правления, милитаризованных, а позже и коммунистических режимов демонстрировало, что воспроизвести западные демократические паттерны удалось далеко не всем. Стало понятно, что строительство многих африканских, латиноамериканских и постсоветских государств не осуществляется как заданное движение от авторитаризма к демократии, но, как правило, определяется симбиозом отдельных элементов традиционализма и современного государства. Продуктом модернизации традиционных обществ стали неопатримониальные системы, обладающие собственной устойчивой логикой развития и характеризующиеся следующими признаками [Eisenstadt 1973: 18]:

1) государство управляется как частное владение (патримониум) носителей государственной власти. При этом происходит приватизация общественных функций и институтов, которые становятся источником частных доходов для этих носителей;

2) этнические, клановые, региональные и семейно-родственные связи отнюдь не исчезают, а встраиваются в логику функционирования государственного аппарата, мимикрируя под «с виду современные» политические и экономические отношения;

3) политический центр отделен от периферии, он концентрирует политические, экономические и символические ресурсы власти, перекрывая доступ к ним всем остальным группам и слоям общества.

Внушительный объем исследований, применяющих концепцию неопатримониализма для анализа политических систем различных регионов и различных исторических периодов, вызвал обеспокоенность в связи с начавшимся процессом ее безмерного растяжения и риском потери ею своего исследовательского потенциала. Появился целый ряд исследовательских проектов, изучающих концепцию неопатримониализма *per se* и поставивших своей целью разрешить сложившиеся концептуальные противоречия [Erdman, Engel 2007; Ilyin 2015; von Soest 2010; Bach 2011]. Однако сказать, что неопатримониализм как исследовательская программа окончательно концептуализирован, было бы преждевременно. Помимо задач операционализации (включающих в себя поиск индикаторов, по которым можно оценить неопатримониализм, и классификацию неопатримониальных си-

стем) перед концепцией стоит еще одна проблема – разграничение неопатримониализма и существующей типологии политических режимов. Важно ответить на следующие вопросы:

1. Является ли неопатримониализм разновидностью политического режима?

2. Если является, не представляет ли он собой то же самое, что и авторитарный режим?

3. Если неопатримониализм не представляет собой тип политического режима, то к какой категории политической науки он относится?

4. В каких политических режимах можно встретить неопатримониализм? Удел ли это только авторитарных и гибридных режимов или неопатримониализм может существовать и в рамках демократии?

Задачи представленной статьи будут очерчены кругом именно этих вопросов, успешное решение которых позволит, на наш взгляд, сделать важный шаг к более полной концептуализации понятия неопатримониализма [Старцев 2016].

Неопатримониализм – политический режим, политическая система, тип господства или что-то еще? Первый пункт наших размышлений будет посвящен вопросу определения неопатримониализма в качестве категории политической науки. Одна из проблем концептуализации неопатримониализма связана с чрезмерным расширением категориальных основ этого термина. Как отмечает Михаил Ильин, неопатримониализм подразумевает «...способ жизни, различные способы мышления, целый ряд поведенческих моделей и типов человеческих взаимодействий» [Ильин 2015: 32]. Часто термин «неопатримониализм» рассматривается при этом просто как синоним коррупции, клиентелизма, патронажа, кронизма, nepotизма, захвата государства, государства-хищника, клептократии, режима пребанды, трайбализма, а также труднопереводимых на русский язык категорий «*godfatherism*», «*warlordism*» [Ильин 2015: 31].

Безусловно, определение через синонимы недопустимо, поскольку лишает феномен собственной ценности. Все перечисленные явления могут включаться в интерпретацию неопатримониализма как составные части, но что представляет неопатримониализм сам по себе, к каким категориям политической науки относится – вопрос открытый. Выражаясь языком формальной логики, нам необходимо определить родовый признак понятия «неопатримониализм».

Несмотря на кажущуюся простоту, эта задача оказывается нетривиальной. Часто даже в рамках одного и того же текста можно встретить следующие трактовки неопатримониализма:

- а) политический режим;
- б) политическая система;
- в) тип доминирования;
- г) политико-экономический порядок;
- д) особый тип организации публичной власти.

Несмотря на то что наиболее часто в литературе встречается словосочетание «неопатримониальный режим», феномен неопатримониализма

не сводится к категории политического режима. Наиболее точно к этому вопросу, на наш взгляд, подошел профессор Лимерикского университета Нил Робинсон, который отметил, «что сама по себе категория неопатримониализма охватывает как политический режим, так и механизм политико-экономического управления государством (*governance*) и не сводится лишь к одной из этих составляющих» [Гельман 2015: 8]. Использование термина «неопатримониализм» тем и привлекательно, что дает более широкое описание гибридности (*hybridity*), чем, например, термин «электоральный авторитаризм». Электоральный авторитаризм, подобно любому другому концепту демократии или авторитаризма с прилагательными, рассматривает гибридность только на уровне политического режима. Политический режим как категория охватывает отношения по поводу доступа к власти либо через выборы, либо через различные неконкурентные практики, а также отношения по поводу удержания власти. «Неопатримониализм связан с гибридностью на более широком уровне, чем политические режимы; он признает, что существуют множественные противоречия в рамках политики на *режимном* и *государственном* уровнях, а также между этими уровнями» [Robinson 2014: 7]. Под режимным уровнем Робинсон понимает, прежде всего, правила, по которым осуществляется доступ к власти, а под государственным – «институциональный локус власти» [Robinson 2014: 8-9]. На наш взгляд, мы не сильно исказим логику автора, если скажем, что неопатримониализм подразумевает переплетения различных способов осуществления власти на *политическом* и *административном* уровнях. Действительно, сравнительные исследования в рамках неопатримониальной концепции, как и теоретические работы, рассматривающие неопатримониализм сам по себе, изучают два блока проблем. Первый – по поводу формирования политических элит, выборных процедур, конституционных ограничений в отношении срока пребывания президента у власти и т.п. Второй – по поводу осуществления исполнительной власти и работы бюрократического аппарата: строится ли он на веберовских принципах меритократии, профессионализма, иерархии, формальной закреплённости или логика его функционирования преимущественно неформальная, основанная на патронаже, кумовстве, клиентарном обмене и т.п.

Отсюда следует еще один вывод. Дополняя мысль Робинсона, мы обратимся к Веберу и скажем, что гибридность политико-административной системы в рамках неопатримониальной концепции интерпретируется еще более широко. Это гибрид типов легитимного господства – рационально-легального и патримониального (подтип, или разновидность традиционного типа). При рациональном типе господства притязания на легитимность основаны на вере в легальность зафиксированных в формальных актах порядков и прав распоряжения, которыми обладают те должностные лица, которые получают это господство опять же на основе формальных порядков. Данный тип господства осуществляется посредством бюрократического штаба управления, функционирующего на основе ряда базовых принципов [Вебер 2016: 259-261]. Традиционный тип господства опирается на веру в святость традиции. Господствующий здесь – «это не начальник, а лично 20-

сподин; его штаб управления состоит не из чиновников, а из *личных слуг*. Не объективный служебный долг, а личная преданность слуги определяет отношение того, кто входит в штаб управления, к господину» [Вебер 2016: 264-265]. Вебер выделяет три разновидности традиционного господства: геронтократию, патриархализм и патримониализм. Патримониальное господство отличается от двух других тем, что в нем господин правит при *наличии штаба управления*.

Вопрос о том, *как сосуществуют* в неопатримониальных государствах *два этих веберовских типа*, далеко не разрешен. Одна позиция заключается в том, что рациональные институты – только ширма в неопатримониальных режимах [Chabal, Daloz 1999: 17]. Другая – в том, что недооценивать роль рационально-легального господства в них нельзя [von Soest 2010: 4]. Сторонники третьей позиции утверждают, что два этих типа просто проявляются в различных сегментах общественных, политических и экономических отношений [Розов 2016: 147]. Согласно четвертой позиции власть (или должность) в неопатримониальных режимах приобретает на основе рационально-легальных институтов, но осуществляется как форма личной собственности, то есть патримониально [Clapham 1985: 48; Hanson 2011]. Так или иначе, вопрос до сих пор остается дискуссионным, однако тезис о том, что суть неопатримониализма состоит в переплетении двух форм веберовского господства, бесспорно, составляет консенсус, сложившийся в исследовательской среде.

Из этого следует еще один вывод. Поскольку при установлении веберовского патримониального подтипа политического господства речь идет об апроприации прав на должность и связанных с ней экономических возможностей, то исследования неопатримониализма так или иначе затрагивают проблемы защиты прав собственности, природы рыночного обмена, рентно-распределительных механизмов. Поэтому сводить неопатримониализм исключительно к категории политического режима было бы неправильным, значило бы смотреть на него только с одной единственной стороны¹. Но тогда чем же неопатримониализм является? Нил Робинсон склоняется к тому, чтобы определить его как *политико-экономическую систему* [Robinson 2014: 7], а Владимир Гельман – как политико-экономический порядок [Гельман 2015: 8], под которым, очевидно, следует понимать ту же самую систему. На наш взгляд, такое определение тоже сталкивается с определенными трудностями. Во-первых, сама категория политико-экономической системы не получила должного распространения, сопутствующей концептуализации, типологизации и

¹ Хотя стоит признать, что многое здесь зависит от того, на какое определение политического режима опираться. Например, определение Гильермо О’Доннелла и Филиппа Шмиттера («политический режим – это вся совокупность явных или неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управленческим позициям, характеристики субъектов, имеющих такой доступ или лишенных его, а также доступные субъектам стратегии борьбы за него» [Цит. по: Голосов 2001: 63]) очень тесно переплетается с тем, что входит в основную повестку исследований неопатримониализма (особенно в своем акценте на неявные модели борьбы за власть). Но даже по отношению к этому определению отметим, что неопатримониализм должен вписываться в иную категорию политической науки, которая бы охватила формы администрирования, а также связь с экономическими возможностями.

т.д. Во-вторых, если в качестве типов политико-экономических систем признавать капитализм, коммунизм, социализм, фашизм и другие исторически сложившиеся системы общественных (и связанных с ними политических и экономических) отношений, то следует отметить, что неопатримониализм может существовать в каждой из них. Отметим, например, исследования, изучающие неопатримониальную природу сталинского СССР и вводящие в оборот термин «коммунистический неопатримониализм» [Kitschelt 1999].

Но если неопатримониализм – это не политический режим и не политико-экономическая система, то что же? Какой категорией политической науки он является?

На наш взгляд, нужно вернуться к истокам этого термина и, поскольку он представляет собой соединение двух типов веберовского господства, признать, что сам по себе неопатримониализм тоже является *формой господства*. Да, Макс Вебер выделял только три чистых типа легитимного господства (и их возможные подтипы). Поэтому скептическое отношение к неопатримониализму как к гибриднему типу, который М. Вебер не выделил как самостоятельный тип легитимации власти, вполне объяснимо [Мартьянов 2016: 83]. Однако М. Вебер регулярно на страницах своей фундаментальной работы повторяет, что идеальный тип – это только теоретическая конструкция, которая противостоит казуистичному подходу историков и позволяет социологу выявлять существенные признаки тех или иных общественных явлений. В исторической действительности ни один из трех идеальных типов не выступает в чистом виде. Преимущество, которое идеально-типическая конструкция дает эмпирическим исследованиям, заключается в «...возможности в каждом случае применительно к каждой форме господства показать, что в ней есть “харизматического” (“наследственно-харизматического” или “от должностной харизмы”), “патриархального”, “бюрократического”, “сословного” и т.д. или что в ней приближается к названным типам» [Вебер 2016: 255]. Если бы мы признали тождество идеальных типов и конкретных эмпирических случаев, развертывающихся в политической реальности, тогда такой скепсис мог бы быть оправдан. Но поскольку такое тождество невозможно, выявление новых форм господства на основе идеальных типов может быть методологически совершенно оправданным.

Как отмечает Жан-Франсуа Медар, «неопатримониализм является продуктом противоречий комбинации бюрократических и патримониальных норм, при которой функционирование публично-властной сферы осуществляется по логике патримониальных отношений, а ее легитимация и формальный порядок формирования – по логике отношений рационально-легальных» [цит. по: Фисун 2010: 167]. Поэтому ключевой вопрос неопатримониализма – это то, как осуществляется господство и как оно легитимируется. Именно в связи с этим сам неопатримониализм можно расценивать как форму господства.

Такой подход, не приравнивающий неопатримониализм к типу политического режима или политической системы, позволяет анализировать существование неопатримониализма в различных политических режимах и политических системах. И эта задача кажется еще более интересной. Но

прежде чем обратиться к ней, сделаем одну оговорку. Вывод, к которому мы пришли, не обесценивает употребление словосочетаний «неопатримониальный режим», «неопатримониальная система». На наш взгляд, употребляя эти словосочетания, исследователи тем не менее идут дальше простого описания политического режима или политической системы. Скорее, речь идет об основанной на сочетании двух типов легитимного господства политико-административной системе и связанной с ней природе рыночного обмена.

Неопатримониализм и спектр политических режимов. Итак, каким образом соотносится неопатримониализм с существующей типологией политических режимов, является ли он уделом только авторитарных и гибридных режимов или может существовать и в демократии? В нашем анализе мы будем ориентироваться не на конкретную типологию политических режимов отдельного автора, коих можно насчитать сотни, а, скорее, на наиболее распространенную дихотомию «авторитаризм-демократия», объединяя различные промежуточные случаи, оформившиеся (вкуче с определениями) как концепты авторитаризма и демократии с прилагательными, в категорию гибридных режимов.

Сам вопрос соотношения неопатримониального типа господства и типологии политических режимов является одним из наиболее дискуссионных в исследовательской повестке. По существу, авторы придерживаются двух вариантов ответа на поставленный вопрос.

Первый вариант ответа был заложен вместе с началом дискуссий о воплощении патримониального типа господства в современных политических системах. Исследователь, предложивший эту идею социологическому и политологическому сообществам, Гюнтер Рот, предостерег их от отождествления власти патримониального типа с авторитаризмом, хотя при этом отмечал, что многие элементы патримониальной власти и современного, и традиционного веберовского типа могут быть существенными в авторитарном правлении. «Однако типологически, – отмечает Гюнтер Рот, – отождествление “патримониального” и “авторитарного” является неправильным. Последнее понятие может быть полезным для установления континуума от плюралистической демократии до тоталитаризма; первая же категория относится прежде всего к типологии убеждений и организационных практик, которые могут быть найдены в любой точке данного континуума» [цит. по: Фисун 2010: 163].

Тем не менее наиболее популярной в исследовательской литературе является позиция, согласно которой место неопатримониализма – в авторитарных режимах. Мамуду Газибо, главный редактор «Neopatrimonialism in Africa and Beyond» – издания, посвященного современным исследованиям неопатримониализма, опираясь на работы Жан-Франсуа Медара, отмечает, что «его концептуализация неопатримониализма описывает систему, ведомую произволом власти, авторитаризмом, приватизацией власти, клиентелизмом и, прежде всего, слиянием публичной и частной сфер. Неопатримониализм и демократия, очевидно, основаны на прямо противоположенных логических основаниях и (по крайней мере, на первый взгляд) несовместимы» [Gazibo 2012: 79].

Действительно, как утверждает Медар, современное государство предполагает институционализацию власти, демократия требует институциональных механизмов, которые могут ограничить произвол власти, поэтому «патримониализм находит естественный канал выражения в авторитаризме, в то же время он не может не подрывать демократию» [Gazibo 2012: 82]. Следовательно, любая попытка демократизации предполагает выход за рамки неопатримониализма.

Несовместимость демократии и неопатримониализма, кажется, налицо. «Когда правящая партия может проиграть выборы и мирно уступить власть, когда каждого руководителя можно привлечь к суду и независимый суд будет судить по закону, когда устанавливаются формальные и безличные правила взаимодействия, а ресурсы распределяются не секретно кланами в свою пользу, а открыто и в соответствии с формальными процедурами, когда журналисты и парламентские комиссии способны расследовать любое злоупотребление властью, то основания патримонии сокращаются, подобно шагреновой коже» [Розов 2015: 170]. К схожему выводу приходит и В. Гельман, называя персональный авторитаризм одним из следствий неопатримониализма [Гельман 2015: 8].

Но как в таком случае это согласовать с утверждением о том, что неопатримониализм выходит за рамки существующей типологии политических режимов? Если принимать логику отождествления авторитаризма и неопатримониализма, как быть с таким термином, как «*неопатримониальная демократия*» [Фисун 2016; Фисун 2011], введенным не так давно Александром Фисуном в отношении современной Украины? Если считать неопатримониализм и демократию несовместимыми, это звучит как оксюморон.

Что же понимается под термином «неопатримониальная демократия»? Александр Фисун использует этот термин для описания политической реальности Украины после конституционной реформы 2004 г., которая установила в Украине премьер-президентскую систему. Если раньше одной из важнейших характеристик неопатримониализма считалось формирование клиентарно-патронажной сети вокруг президента, то конституционная реформа 2004 г. в Украине заложила уникальную возможность формирования двух автономных, конкурирующих и относительно равнозначных клиентарно-патронажных вертикалей: патронажной сети Президента В. Ющенко и патронажной сети премьера Ю. Тимошенко. «Возможность сосуществования двух патронажных вертикалей гарантировалась отдельным контролем различных элементов “силовой машинерии” (правоохранительной системы, спецслужб, судебной системы и прокуратуры), что обоюдно блокировало любые возможности “силового” наезда друг на друга» [Фисун 2011: 121].

И в этом новом для Украины формате политической системы неопатримониальной демократии ключевым игроком и ее «...принципиальным агентом» выступает партийный холдинг, который агрегирует интересы нескольких влиятельных групп интересов и ведет электоральную борьбу за голоса избирателей, а значит и, в конечном счете, за доступ к разделу рентоизвлекающих позиций в государственной машине и вертикали исполнительной власти». [Фисун 2011: 123]. Причем партийные холдинги сами

по себе представляют неопатримониальную структуру. С одной стороны, формально это политические партии, ведущие борьбу с другими партиями за голоса избирателей. С другой стороны, они представляют собой клиентарно-патронажные сети, объединяющие политических предпринимателей, целью которых является конвертация власти в собственность.

Обобщим основные черты *неопатримониальной демократии* в отличие от *классического неопатримониализма*:

- существует реальная электоральная конкуренция, результаты выборов имеют высокую степень неопределенности;

- отсутствует стратегия «победитель получает все», распределение электоральных выигрышей перестает быть монопольным (зависящим от результатов выбора президента, как это бывает в классических неопатримониальных режимах), а становится кооперативным;

- имеет место раздел силового ресурса, возможность «силового наезда» друга на друга со стороны ключевых игроков (президента и премьера) заблокирована;

- формируется не одна, а две относительно равносильные, автономные и конкурирующие клиентарно-патронажных сети, в центре которых находятся президент и премьер-министр;

- ключевая борьба за рентоизвлекаемые позиции ведется несколькими примерно равными политическими холдингами, опирающимися на автономные группы интересов.

Надо сказать, что в такой системе высок риск конституционного тупика, когда ключевые решения блокируются одной из групп акторов. Когда разрешение противоречий в рамках легальных конституционных процедур становится невозможным, способом выхода из патовой ситуации становятся «неформальные параконституционные практики межфракционного торга межэлитных сделок и обменов» [Фисун 2011: 124]. Яркими примерами такого торга являются третий тур президентских выборов 2004 г., формирование правительственной коалиции 2010 г., соглашение об урегулировании политического кризиса между В. Януковичем и представителями украинской оппозиции 21 февраля 2014 г. Такой способ достижения консенсуса также подтверждает неопатримониальную природу политического режима Украины.

Мы столь подробно остановились на феномене неопатримониальной демократии, чтобы выявить ее основные черты и понять, насколько в ней взаимоувязаны неопатримониализм и демократия, или в чем заключаются демократичность неопатримониализма и неопатримониализм демократии. На наш взгляд, модель, предложенная А. Фисуном для объяснения политического режима Украины, убедительно и четко показывает, что сложившаяся политическая система обладает конститутивными признаками и демократии, и неопатримониализма, формируя при этом совершенно самостоятельный тип, обладающими ясными признаками. Поэтому назвать термин «неопатримониальная демократия» оксюмороном будет неправильно.

К категории неопатримониальной демократии можно отнести и политическую систему России периода президентства Б. Ельцина. С одной

стороны, отмечаются достаточно либеральные правила электоральной борьбы, непредсказуемость результатов выборов (реальная опасность для Президента проиграть на выборах 1996 г.), с другой стороны, имело место формирование широкого слоя рентоориентированных региональных и олигархических игроков. Вхождение крупных собственников в состав государственных структур в качестве платы за финансирование выборной кампании Б. Ельцина, их стремление использовать должностной ресурс в личных экономических целях (яркий пример – попытка приватизации государственной компании «Связьинвест» заместителем секретаря Совета Безопасности России Б. Березовским) характеризуют неопатримониальную природу российского политического режима того периода на уровне элит. Но корни рентоориентированного поведения уходят еще глубже – в ежедневные практики органов власти регионального и местного уровней, в особенности органов правопорядка. Приватизация публичных полномочий органами правопорядка получила свое выражение в феномене, которому Вадим Волков дал название «силовое предпринимательство» [Волков 2012].

Поэтому стоит признать возможность сосуществования демократических правил игры и неопатримониальных практик. Но при этом нужно сделать оговорку. Ни современная Украина, ни Россия 1990-х не рассматриваются исследователями как консолидированные демократии. Скорее, речь идет о гибридных режимах.

И здесь в нашей попытке разобраться в вопросе соотношения неопатримониализма с типологией политических режимов будет полезным обратиться к типологии, предложенной одним из главных критиков парадигмы транзита Томасом Карозерсом. Он делит все государства «серой зоны» (то есть не относящиеся прямо ни к демократии, ни к авторитаризму) на два типа: на *бесплодный плюрализм (feckless pluralism)* и *режим доминирующей власти (dominant-power politics)*. При этом исследователь отказывается от того, чтобы их классифицировать как какие-либо демократии с прилагательными, поскольку справедливо отмечает, что «описывая страны в серой зоне как некие типы демократических государств, аналитики в действительности пытаются применять парадигму перехода к тем самым странам, политическое развитие которых ставит эту парадигму под сомнение» [Карозерс 2002: 49]. При этом аналитическая необходимость развести две разные модели, сформировавшиеся в рамках «серой зоны», налицо.

Бесплодный плюрализм, по Т. Карозерсу, отличается такими элементами демократии, как регулярные и действительно соревновательные выборы, чередование власти. Однако дальше выборов демократические практики не идут. Граждане не стремятся участвовать в политике, испытывают недоверие к политическим элитам, воспринимая их как коррумпированные и безразличные к судьбе страны группировки. Бесплодный плюрализм может существовать в различных формах. «В одних случаях партии, сменяющие друг друга у власти, охвачены парализующей их враждой. Находясь в оппозиции, они делают все, чтобы помешать сопернику хоть что-нибудь предпринять, как это происходит в Бангладеш. В других случаях конкурен-

ция элит приводит к коллизии, которая, формально или неофициально, делает смену власти бесполезной в различных аспектах, как это произошло в Никарагуа в конце 1990-х гг. В некоторых странах, пораженных бесплодным плюрализмом, политическая конкуренция присуща глубоко укоренившимся партиям, которые по сути действуют как патронажные сети и, очевидно, неспособны к обновлению, как в Аргентине или Непале. В других государствах у власти чередуются постоянно меняющиеся политические группировки, партии-однодневки, возглавляемые харизматическими личностями, или временные союзы еще неустановившейся политической идентичности, как в Гватемале или в Украине» [Карозерс 2002: 51]. Общей чертой их все же является то, что политические элиты, будучи плюралистическими, глубоко отчуждены от граждан.

При *режиме доминирующей власти* в государстве есть конституционно оформленные элементы демократии (демократическая конституция, выборы президента, парламента), есть определенное пространство для оппозиции, возможность конкурировать на выборах, однако одна политическая группировка (партия, семья, отдельный лидер) доминирует в политической системе настолько, что в ближайшем будущем смена власти представляется маловероятной. В отличие от бесплодного плюрализма, режим доминирующей власти концентрирует ресурсы государства (в том числе силовые структуры, СМИ) вокруг правящей группировки. Следствиями длительного удержания власти часто становятся системообразующая коррупция и «капитализм для своих» (*crony capitalism*). Определенное давление со стороны общества заставляет на уровне публичной риторики признать проблему коррупции, однако реальная практика борьбы с ней не может быть успешной, поскольку система во многом держится за счет клиентарно-патронажных связей и иных неформальных отношений.

Типология гибридных режимов, предложенная Т. Карозерсом, интересна в рамках настоящего исследования, поскольку показывает, что находящиеся в «серой зоне» государства, хоть и в разной степени, обладают типичными чертами и демократии (плюрализм политических партий, выборность основных должностных лиц и парламента, часто непредсказуемость выборов, распределение силового ресурса между различными игроками и т.д.), и неопатримониализма (системообразующая коррупция, патронажные сети, элитные сговоры и т.д.).

Объяснение Т. Карозерсом сущности государств «серой зоны» и концепция неопатримониальной демократии А. Фисуна доказывают возможность сосуществования неопатримониализма и демократии. И этот факт, по сути, примиряет два взгляда на соотношение неопатримониализма и существующей типологии политических режимов. С одной стороны, недопустимо отождествление неопатримониализма и авторитаризма. С другой – стоит признать невозможность существования неопатримониализма в рамках *устойчивых* демократических государств. При этом в рамках различных гибридных форм (о которых и идет речь в исследованиях Т. Карозерса и А. Фисуна) сосуществование демократических паттернов и неопатримониальных практик более чем вероятно.

Таким образом, неопатримониализм может быть присущ гибридным и авторитарным режимам. При этом авторитарные режимы не обязательно являются неопатримониальными. В качестве подтверждения этого тезиса можно привести пример Германии второй половины XIX в., «...которая управлялась легально-рациональной бюрократией и верховенством права, однако эта версия верховенства права не была основана на правах человека и точно не была основана на демократических свободах» [Erdmann, Engel 2007: 111]. Как видим, авторитарные режимы вполне сочетаются не только с неопатримониальным, но и с рационально-легальным доминированием (близким к чистому). Опираясь на принцип разделения политического и административного уровней государства (правительства и бюрократии), Д. Эрдман и У. Энгель предлагают следующую таблицу соотношения типов доминирования в разных политических режимах на двух уровнях политико-административной системы (таблица).

Правительство и бюрократия в различных режимных типах¹

Режимный тип	Демократический		Гибридный	Авторитарный	
Подтипы	Консолидированный	Нелиберальный, дефектный, делиберативный и т.д.	Возможные подтипы	Бюрократический	Неопатримониальный
1	2	3	4	5	5
Правительство	Легальное	Легальное (персональное)	Легальное (персональное)	Персональное	Персональное
Бюрократия	Легальная	Неопатримониальная	Неопатримониальная	Легальная	Неопатримониальная

Это умозаключение, уточненное в форме матрицы, доказывает, что концепция неопатримониализма выходит за рамки классической триады политических режимов (демократия – гибридные режимы – авторитаризм). Неопатримониальные формы власти могут быть найдены в любой точке режимного спектра. Но при этом же они могут быть несвойственны не только консолидированным демократиям² (как утверждают М. Газибо,

¹ См. об этом подробнее [Erdmann, Engel 2007: 113].

² Отметим, что существуют работы, в которых изучаются патримониальные практики, имеющие место в современных устойчивых демократических системах. Профессор Висконсинского университета Иван Ермаков, например, в статье «Patrimony and Collective Capacity: An Analytical Outline» показывает, как патримониальные практики проявляются в работе Конгресса США и академической системы Франции [Ermakoff 2011]. Профессор Университета штата Нью-Йорк в Олбани Ричард Лахман утверждает, что патримониальные отношения пронизывают современную систему здравоохранения и государственной службы США [Lachman 2011]. Соглашаясь с тем, что патримониальные практики могут быть найдены в любой системе властных отношений, скажем все же, что неопатримониализм не распространен в этих системах настолько, чтобы составлять их суть и приводить к частному присвоению публичных функций.

Ж.-Ф. Медар, Н. Розов), но и ориентированным на нормы легальной рациональности авторитарным режимам. Поэтому в действительности установление прямого соответствия между политическим режимом и неопатримониализмом малопродуктивно. Неопатримониализм, скорее, задает другую шкалу, или дополнительное измерение, политических систем. Для этой концепции важно не то, каким образом организована конкуренция в политике, но то, насколько публичная сфера присваивается в частных интересах, с какой силой и в каких масштабах проникают в современную политическую ткань традиционные формы господства (включая личную преданность, клиентелизм, nepotизм и иные ее составляющие компоненты). И это можно рассматривать как одно из основных преимуществ концепта. Он позволяет оценивать то, как осуществляется власть и с точки зрения формальных установлений, и с точки зрения неформальных практик, вне зависимости от типа политического режима. Это делает концепцию неопатримониализма принципиально новаторской и способной привести исследователей к глубоким и нетривиальным выводам о том, как реально осуществляется власть в том или ином политическом сообществе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Вебер М. 2016. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. 1 / сост., общ. ред. и предисл. Л.Г. Ионин. М. : Издат. дом Высш. шк. экономики. 445 с.
- Волков В.В. 2012. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге. 352 с.
- Гельман В.Я. 2015. Модернизация, институты и «порочный круг» постсоветского неопатримониализма : препринт М-41/15. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге. 44 с.
- Голосов Г. 2001. Сравнительная политология : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге. 368 с.
- Карозерс Т. 2002. Конец парадигмы транзита // Полит. наука. № 2. С. 42-65.
- Мартьянов В. 2016. Российский политический порядок в рентно-сословной перспективе // ПОЛИС : Полит. исслед. № 4. С. 81-99.
- Розов Н. 2015. Теория трансформации политических режимов и природа неопатримониализма // ПОЛИС : Полит. исслед. № 6. С. 157-172.
- Розов Н. 2016. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации // ПОЛИС : Полит. исслед. № 1. С. 139-156.
- Старцев Я. 2016. Неофеодализм: эффективная метафора или релевантная концепция? // Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В.С. Мартьянова, Л.Г. Фишмана. М. : Полит. энцикл. С. 200-215.
- Фисун А. 2010. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация // Полит. концептология. № 4. С. 158-187.
- Фисун А. 2011. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития // Ойкумена : альм. сравнит. исслед. полит. ин-тов, социал.-экон. систем и цивилизаций. № 8. С. 119-127.
- Фісун О. 2016. Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні // Агора. № 17. С. 9-13.

Bach D.C. 2011. Patrimonialism and Neopatrimonialism: Comparative Trajectories and Readings // *Commonwealth & Comparative Politics*. Vol. 49, № 3. P. 275-294.

Chabal P., Daloz J.P. 1999. *Afrika Works: Disorder as Political Instrument*. [London] : International African Institute in association with James Currey ; Oxford ; Bloomington : Indiana Univ. Press. 192 p.

Clapham C. 1985. *Third World Politics*. Madison : Univ. of Wisconsin Press. 256 p.

Eisenstadt S.N. 1973. *Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism*. Beverly Hills (Calif.) : Sage Publications. 96 p.

Erdmann G., Engel U. 2007. Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept // *Commonwealth & Comparative Politics*. Vol. 45, № 1. P. 95-119.

Ermakoff I. 2011. Patrimony and Collective Capacity: An Analytical Outline // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 636, № 1. P. 182-203.

Gazibo M. 2012. Can Neopatrimonialism Dissolve into Democracy? // *Neopatrimonialism in Africa and Beyond*. P. 79-89.

Hanson S. 2011. Plebiscitarian Patrimonialism in Putin's Russia: Legitimizing Authoritarianism in a Postideological Era // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 636, № 1. P. 32-48.

Ilyin M. 2015. Patrimonialism. What is Behind the Term: Ideal Type, Category, Concept or just a Buzzword? // *Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*. Vol. 18, № 1. P. 26-51.

Kitschelt H. 1999. *Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation*. Cambridge : Cambridge Univ. Press. 476 p.

Lachmann R. 2011. Coda: American Patrimonialism: The Return of the Repressed // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 636, № 1. P. 204-230.

Robinson N. 2014. *The Political Origins of Russia's «Culture Wars»*. Limerick : Univ. of Limerick, Department of Politics and public administration. 37 p.

Soest Ch. von. 2010. What Neopatrimonialism is – Six Questions to the Concept // GIGA-Workshop “Neopatrimonialism in various World Regions”. Hamburg : GIGA German Institute of Global and Area Studies. 21 p.



K. Melnikov. Neopatrimonializm v kontekste tipologii politicheskikh rezhimov [Neopatrimonialism in the context of political regimes' typology], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 51-66. (in Russ.).

Kirill V. Melnikov, Post-graduate Student, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg.
E-mail: melnikovrezh@gmail.com

Article received 28.03.2017, accepted 03.05.2017, available online 01.10.2017

NEOPATRIMONIALISM IN THE CONTEXT OF POLITICAL REGIMES' TYPOLOGY

Abstract. The concept of neopatrimonialism formed as a response to the non-obviousness of basic assumptions of the democratic transit paradigm has gained great popularity in

analyzing the political development of African, Latin American, Southeast Asian, and post-Soviet states. However, the explosive growth of research based on these concept starts to cause concerns of its blurring and loss of heuristic potential. One of the most important problem is correlation between neopatrimonialism concept and the category of political regimes. This problem has two principal aspects. First, it is important to determine whether neopatrimonialism itself is a kind of political regime. A negative answer to this question implies the need to clarify what kind of political science category it represents. Second, it is important to clarify how neopatrimonialism relates to the existing typology of political regimes. Are authoritarian regimes the natural abode for neopatrimonialism, or neopatrimonialism could be found anywhere – from authoritarianism to democracy? The article consists of two parts, which correspond to the above-mentioned aspects. In the first part, the author analyzes the existing notions of neopatrimonialism as a political regime, political system, political order, and concludes that neopatrimonialism is a type of political domination formed by two Max Weber's ideal types: rational-legal and patrimonial ones. In the second part, the author summarizes research approaches to the problem of neopatrimonialism in different types of political regimes. Taking into account Alexander Fisun's concept of "neopatrimonial democracy", and Thomas Carothers's typology of "gray zone", the author considers the idea of identifying authoritarianism and neopatrimonialism as irrelevant. Summarizing the debates on the correlation of neopatrimonialism and typology of political regimes, the author considers the idea of their strict conformity as counterproductive. Rather, neopatrimonialism concept provides another dimension for political systems, analyzing the degree of private appropriation of the public sphere and new forms of constructing the traditional type of dominance in modernity. In turn, these phenomena could be combined with both authoritarian and democratic practices.

Keywords: neopatrimonialism, patrimonialism, political regime, neo-patrimonial democracy, legitimate rule.

References

- Bach D.C. Patrimonialism and Neopatrimonialism: Comparative Trajectories and Readings, *Commonwealth & Comparative Politics*, 2011, vol. 49, no. 3, pp. 275-294.
- Carothers T. *Konets paradigmy tranzita* [The End of the Transition Paradigm], *Polit. nauka*, 2002, no. 2, pp. 42-65. (in Russ.).
- Chabal P., Daloz J.P. *Afrika Works: Disorder as Political Instrument*, [London], International African Institute in association with James Currey, Oxford, Bloomington, Indiana Univ. Press, 1999, 192 p.
- Clapham C. *Third World Politics*, Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1985, 256 p.
- Eisenstadt S.N. *Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism*, Beverly Hills (Calif.), Sage Publications, 1973, 96 p.
- Erdmann G., Engel U. Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept, *Commonwealth & Comparative Politics*, 2007, vol. 45, no. 1, pp. 95-119.
- Ermakoff I. Patrimony and Collective Capacity: An Analytical Outline, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2011, vol. 636, no. 1, pp. 182-203.
- Fisun A. *K pereosmysleniyu postsovetskoy politiki: neopatrimonial'naya interpretatsiya* [By Rethinking of Post-Soviet Politics: Neopatrimonial Interpretation], *Polit. kontseptologiya*, 2010, no. 4, pp. 158-187. (in Russ.).
- Fisun A. *Ukrainskaya neopatrimonial'naya demokratiya: formirovanie, spetsifika i tendentsii razvitiya* [Ukrainian Neopatrimonial Democracy: Formation, Specificity and

Development Trends], *Oyukumena : al'm. sravnit. issled. polit. in-tov, sotsial.-ekon. sistem i tsivilizatsiy*, 2011, no. 8, pp. 119-127. (in Russ.).

Fisun O. *Neformal'ni instituti ta neopatrimonial'na demokratiya v Ukraini* [Informal Institutions and Neopatrimonial Democracy in Ukraine], *Agora*, 2016, no. 17, pp. 9-13. (in Ukrain).

Gazibo M. Can Neopatrimonialism Dissolve into Democracy?, *Neopatrimonialism in Africa and Beyond*, 2012, pp. 79-89.

Gelman V.Ya. *Modernizatsiya, instituty i «porochnyy krug» postsovetskogo neopatrimonializma : preprint M-41/15* [Modernization, Institutions and the “Vicious Circle” of Post-Soviet Neopatrimonialism : prepr.], St. Petersburg, Izd-vo Evrop. un-ta v Sankt-Peterburge, 2015, 44 p. (in Russ.).

Golosov G. *Sravnitel'naya politologiya : uchebnik* [Comparative Political Science : Textbook], 3rd ed., rev. and augm., St. Petersburg, Izd-vo Evrop. un-ta v Sankt-Peterburge, 2001, 368 p. (in Russ.).

Hanson S. Plebiscitarian Patrimonialism in Putin's Russia: Legitimizing Authoritarianism in a Postideological Era, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2011, vol. 636, no. 1, pp. 32-48.

Ilyin M. Patrimonialism. What is Behind the Term: Ideal Type, Category, Concept or just a Buzzword?, *Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 26-51.

Kitschelt H. *Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1999, 476 p.

Lachmann R. Coda: American Patrimonialism: The Return of the Repressed, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2011, vol. 636, no. 1, pp. 204-230.

Martyanov V. *Rossiyskiy politicheskiy poryadok v rentno-soslovnoy perspektive* [Russian Political Regime in the Rent-Estate Perspective], *POLIS : Polit. issled.*, 2016, no. 4, pp. 81-99. (in Russ.).

Robinson N. *The Political Origins of Russia's "Culture Wars"*, Limerick, Univ. of Limerick, Department of Politics and public administration, 2014, 37 p.

Rozov N. *Neopatrimonial'nye rezhimy: raznoobrazie, dinamika i perspektivy demokratizatsii* [Neopatrimonial Regimes: Diversity, Dynamics, and Prospects for Democratization], *POLIS : Polit. issled.*, 2016, no. 1, pp. 139-156. (in Russ.).

Rozov N. *Teoriya transformatsii politicheskikh rezhimov i priroda neopatrimonializma* [The Theory of Political Regimes' Transformation and Nature of Neopatrimonialism], *POLIS : Polit. issled.*, 2015, no. 6, pp. 157-172. (in Russ.).

Soest Ch. von. What Neopatrimonialism is – Six Questions to the Concept, GIGA-Workshop “Neopatrimonialism in various World Regions”, Hamburg, *GIGA German Institute of Global and Area Studies*, 2010, 21 p.

Startsev Ya. *Neofeodalizm: effektnaya metafora ili relevantnaya kontseptsiya?* [Neofeudalism: an effective metaphor or a relevant concept?], *V.S. Martyanov, L.G. Fishman (eds.) Rossiya v poiskakh ideologii: transformatsiya tsennostnykh regulyatorov sovremennykh obshchestv*, Moscow, Polit. entsikl., 2016, pp. 200-215. (in Russ.).

Volkov V.V. *Silovoe predprinimatel'stvo, XXI vek: ekonomiko-sotsiologicheskii analiz* [Power Entrepreneurship, XXI Century: Economic and Sociological Analysis], 3rd ed., rev. and augm., St. Petersburg, Izd-vo Evrop. un-ta v Sankt-Peterburge, 2012, 352 p. (in Russ.).

Weber M. *Khozyaystvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchey sotsiologii. V 4 t. T. 1* [Wirtschaft und gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, in 4 vols. Vol. 1], Moscow, Izdat. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 2016, 445 p. (in Russ.).



Корсаков К.В. Криминологический и уголовно-правовой анализ современной организованной преступности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 67–84.

УДК 343.97:343.85

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.6784

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ¹

Константин Викторович Корсаков

кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник отдела права
Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург. E-mail: korsakovekb@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-5136-562X

Материал поступил в редколлегию 27.01.2017 г.

Материал посвящен разносторонней юридической и криминологической характеристике современной организованной преступности как одного из наиболее общественно опасных и деструктивных явлений современности. Автор статьи приводит сведения об истории развития организованной преступности в России, основных признаках и качественно-количественных параметрах современной организованной преступности, последних изменениях ее уровня, динамики, структуры, латентности, а также указывает преобладающие в настоящее время причины, условия и предпосылки распространения организованной преступности. В статье описаны типовые черты и отличительные признаки современных организованных преступных

¹ Статья подготовлена при поддержке исследовательского проекта ИФП УрО РАН № 15-19-6-6 «Трансформация морально-политических и правовых регуляторов современного общества: взаимодействие национального и глобального пространств».

групп и криминальных сообществ (преступных организаций). В работе также выделены и подробно охарактеризованы специфические особенности, наиболее разрушительные тенденции и перспективы развития организованной преступности на современном этапе: нацеленность на внедрение представителей организованных преступных объединений в органы государственной власти, правоохранительные и контрольно-надзорные структуры, дальнейшее расширение коррупционных связей и системы подкупа должностных лиц, установление контроля за экономической деятельностью крупных отечественных предприятий, передел собственности, выход на транснациональный уровень и захват чужого бизнеса посредством рейдерства. Автор аргументирует необходимость воссоздания в Российской Федерации специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью в структуре органов внутренних дел.

Ключевые слова: организованная преступность, мафия, предупреждение преступного поведения, транснациональная преступность, деятельность правоохранительных органов, причины и условия преступности, динамика преступности в России, тенденции развития преступности, борьба с преступностью.

Организованная преступность как наиболее опасное проявление криминально-криминогенного фактора обладает тысячелетней историей существования. Современные ученые нередко в монографических и диссертационных исследованиях предпринимают попытки установить момент ее первоначального появления. При этом авторы указывают на упоминания в Записках о Галльской войне (50-е гг. до н.э.) Гая Юлия Цезаря о не подчинявшихся каким-либо политическим властям вооруженных и слаженно действующих бандах разбойников, для борьбы с которыми в Древнем Риме часто использовались отряды вооруженного ополчения, состоящего из непрофессиональных воинов, – милиция (от лат. «mille» – тысяча), а в работах, касающихся истории данного явления в России, описывают орудовавшие во времена раннего Средневековья никому не подконтрольные шайки и ватаги ушкуйников [Барбашина 2015: 11-12].

Думается, что все эти попытки заведомо неубедительны, поскольку еще на самых ранних этапах социогенеза и антропогенеза пращуров современных людей начали действовать сообща – коллективно, командно и организовано – не только в быту, в хозяйстве и на охоте, но и во время грабительских походов, разбойных набегов и других недружественных акций, предпринимаемых в отношении и своих ближайших соседей, и чужеземцев. Например, такое системно совершаемое вооруженными организованными криминальными группами преступление, как пиратство, о распространении которого среди древних финикийцев, персов, хеттов и филистимлян хорошо известно из курса истории Древнего мира, появилось одновременно с началом передвижения людей по морю.

Уровень и степень организованности подобных коллективов в каждой из последовательно сменявших друг друга исторических эпох находились в соответствии с их наличным бытием, социальной действительностью, сознанием и мышлением людей, но они неуклонно возрастали по мере интеллектуального развития человека и движения общественного прогресса,

постепенно достигнув современных нам, заключающих большую угрозу безопасности всего мирового сообщества, пределов.

В России организованная преступность как самостоятельное явление криминального мира обратила на себя пристальное внимание правоведов, социологов и государственных деятелей лишь в конце XIX в. [Терешенок, Подлесских 1995: 7-8; Олейник 2001: 11]. Социальные потрясения, сдвиги и катаклизмы первой четверти XX столетия (кризис самодержавия, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война и диктатура большевиков, репрессии, коллективизация и раскулачивание, приведшие к резкой нехватке продовольствия, «голодоморам», скоплению большого количества людей в учреждениях системы ГУЛАГ, резкому росту числа увечных, попрошаек, бродяг, переселенцев, людей, лишившихся крова, сирот и беспризорников, о жизни которых в то тяжелое время написана отчасти автобиографическая повесть Г.Г. Белых и А.И. Еремеева (Л. Пантелеева) «Республика ШКИД») значительно способствовали увеличению ее интенсивности и масштабов [Анисимков 1998: 5-6], однако свой повсеместный и массовый характер организованная преступность приобрела в нашей стране только в середине 70-х гг. XX в., когда резко увеличилось количество должностных преступлений и фактов коррупции, а также преступлений в экономической (хозяйственной) сфере (групповая криминальная деятельность различных расхитителей социалистической собственности, спекулянтов и мошенников, контрабандистов, «фарцовщиков», «цеховиков» и т.д.) [Гуров 1995: 17].

Наибольший прирост доли организованной преступности в общей структуре российской преступности был зафиксирован специалистами в области уголовной статистики в конце 80-х гг. прошлого столетия, когда началось кооперативное движение [Осипкин 1998: 10]; именно в этот период получило распространение такое – уже многими сегодня подзабытое – криминальное явление, как рэкет.

Во многом организованная преступность в поздний советский период представляла собой результат чрезмерной бюрократизации управленческого аппарата, «застойных» явлений в экономической и социально-политической жизни, тотального дефицита товаров, увеличения нелегального («теневое») сектора в народном хозяйстве, криминализации и «перерождения» партийной номенклатуры, особенно в национальных – «окраинных» – республиках, что со всей наглядностью продемонстрировали результаты работы следственных бригад и комиссий Прокуратуры СССР, в состав которых входили Т.Х. Гдлян, Н.В. Иванов, В.И. Илюхин, Ю.М. Лучинский, В.И. Олейник и другие известные юристы.

Решительным препятствованием усугублению сложившейся ситуации, началом ее оперативного решения эффективными и жесткими методами явилась деятельность незаурядных руководителей правоохранительных органов Союза ССР А.В. Власова, В.В. Федорчука, С.К. Цвигуна по усилению институтов и механизмов народного и государственно-партийного контроля [Федорчук 1984: 28-29], не получившая, к сожалению, своего закрепления и дальнейшего должного продолжения.

Следует заметить, что в настоящий период формы, способы и приемы, некогда внедрявшиеся в правоприменительную практику генералом армии В.В. Федорчуком (1918–2008), занимавшим посты председателя КГБ СССР и министра внутренних дел СССР, относятся к передовому опыту многих западных правоохранительных органов и спецслужб, в частности в США, Германии, Великобритании и Канаде (разветвленная агентская сеть, вербовка представителей организованной преступности, разоблачение преступных сообществ и дискредитация их лидеров в глазах других преступников, контролируемые поставки и проверочные закупки, институт платных осведомителей, распространенное оперативное внедрение и т.д.) [Currie 2013: 82-85; Rawls 1991: 324-327].

Характерная особенность любой организованной преступности заключается в том, что она представляет собой такое негативное явление, которое наиболее емко отражает общественно-политические и социально-экономические процессы, происходящие в меняющемся обществе. На это обращал внимание еще в начале XX в. французский юрист и криминолог Ж. Ван-Кан [Ван-Кан 1915: 221]. Неслучайно ее всплески и гиперактивность наблюдаются именно в периоды политических кризисов, масштабных войн, глобальных социальных потрясений либо резкой смены экономических формаций.

В настоящее время в России объективная оценка коэффициента и динамики организованной преступности, равно как и других качественно-количественных параметров, представляется весьма затруднительной ввиду высокого уровня ее латентности. Многие отечественные ученые-криминологи определяют латентную часть российской организованной преступности как в три, а то и в четыре раза большую, нежели по оценкам специалистов аналитических и статистических служб российских правоохранительных структур. Согласно их данным, около 55% от всех экономических преступлений, которые сегодня совершаются организованными преступными сообществами, не регистрируются и не расследуются вследствие попустительства либо коррупционного подкупа должностных лиц правоохранительных органов [Долгова 2011: 19].

В первую очередь столь высокий уровень латентности объясняется низкими показателями раскрываемости совершенных организованными криминальными объединениями преступлений и высокой степенью конспиративности и замаскированности криминальной деятельности организованных преступных формирований.

К маркерам современной нам организованной преступности – ее отличительным качествам, которые одновременно являются ее признаками и показателями, – относятся наличие большого количества организованных преступных структур, которые занимаются криминальным промыслом на длительной и постоянной основе, перманентный процесс возникновения новых организованных преступных объединений, а также постоянная фиксация и отражение в источниках уголовной статистики преступных деяний, совершенных организованными преступными формированиями.

В отечественной криминологической литературе давно устоялось разделяемое нами определение организованной преступности как «...особой формы преступности, для которой характерна устойчивая криминальная деятельность, осуществляемая преступными организациями, имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах» [Гаухман, Максимов 1997: 11].

Интересно то обстоятельство, что принятый еще в 1968 г. и до сих пор действующий в США «Закон о контроле над преступностью и безопасностью на улицах» (*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act*) определяет организованную преступность иначе, нежели российская криминологическая доктрина, а именно как «...противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, которая занимается предоставлением запрещенных законом услуг, включая использование азартных игр, проституцию, кредитование, распространение наркотических средств и иную противоправную деятельность подобного рода» [Neier 1976: 71].

Безусловно, любая организованная криминальная деятельность подразумевает совершение преступных посягательств в соучастии, в группе, однако далеко не каждое групповое преступление и не всякая преступная группа могут быть определены как организованные. Мы полагаем, что преступная группа может быть охарактеризована как организованная, только если она обладает следующим набором признаков: целенаправленностью и повышенной общественной опасностью действий, устойчивостью, наличием внутренней структуры (структурированностью), специфичностью приемов и методов преступной деятельности.

Очевидно, что степень организованности преступных объединений может быть различной. В зависимости от этого параметра в российском уголовном праве и науке криминологии все организованные преступные формирования делятся на две основные категории: организованные группы и преступные сообщества (преступные организации).

Организованные преступные группы представляют собой устойчивые объединения двух и более преступников, которые специально создаются для совершения различных преступлений, как правило тождественных (одних и тех же) или однородных (однотипных) [Грошев 2004: 26-27; Мордовец 2001: 41-42]. Чаще всего участники подобных групп обладают специальными познаниями, профессиональным опытом, навыками и умениями преступной деятельности, которая носит не фрагментарно-стохастический, а постоянный характер и является для них основным источником дохода. Именно такие криминальные группы образуют сегодня в России низовые и первичные ячейки организованной преступности.

Преступные сообщества (или преступные организации) – это наиболее общественно опасная разновидность организованных криминальных формирований, которая включает в себя сплоченные, структурированные и ставящие своими целями совершение исключительно тяжких и особо тяжких преступлений организованные группы со сложной, ступенчатой

системой управления, а также объединения (союзы) устойчивых организованных групп с единым для них руководящим ядром (центром).

Специфическим видом организованного преступного формирования является банда – устойчивая группа, созданная в целях нападения на граждан либо организации и отличающаяся от остальных разновидностей преступных объединений признаком вооруженности. С юридической точки зрения этот признак предполагает наличие хотя бы у одного из членов банды оружия при осведомленности об этом факте всех остальных участников банды.

Отличительными чертами современных организованных преступных сообществ выступают подпольный характер и тщательное планирование криминальной деятельности, высокий уровень обеспечения, конспирации и их самозащиты от уголовного преследования, иерархичность структуры, наличие коррупционных связей во властных структурах, масштабность и многоплановость криминальной активности, стремление монополизировать отдельные сферы оказания запрещенных услуг (проституция, игорный бизнес, сбыт наркотиков и т.д.), нацеленность на постоянное расширение географии своей преступной деятельности, принятие и поддержание особых, принятых в криминальной и околокриминальной среде правил поведения – «понятий», формирование общих денежных фондов – «общака» и контроль за расходованием взятых из них финансовых средств, строгое распределение ролей и обязанностей участников таких объединений и их подчинение лидерам и авторитетам – «смотрящим», «положенцам», «ворам в законе» и др., функционирование специально создающегося арбитража – «третейского суда» для решения всех споров, оказание содействия и взаимной помощи друг другу.

Такие криминальные объединения могут насчитывать от нескольких десятков членов до нескольких сотен участников, как, например, широко известное в России и за рубежом Солнцевское преступное сообщество, названное по месту его появления – г. Солнцево, ныне являющемуся муниципальным районом в Западном административном округе г. Москвы [Козаченко, Корсаков 2011: 161].

Как правило, чем больше число членов преступного организованного формирования, тем меньше его сплоченность и спаянность, однако выше криминальная активность, социальная опасность, масштабы преступной деятельности и криминальная мобильность.

Не следует упускать из внимания, что не только в обыденной жизни, но и в стенах российских пенитенциарных заведений в настоящее время действуют сотни организованных преступных групп [Кузьмичев 2008: 19]. Их наличие там с закономерностью превращает отечественные уголовно-исправительные учреждения в центры по возвращению и подготовке профессиональных и закоренелых преступников, уголовников-рецидивистов, деятельность которых носит ярко выраженный антиобщественный и идеолого-антагонистический характер (не зря места лишения свободы еще в прошлом веке получили у нас в стране наименование «криминальных университетов и академий»).

В Российской Федерации по степени распространенности и засилья организованной преступности в настоящее время лидируют: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, Дальний Восток, Забайкалье, Средний и Южный Урал, Западная Сибирь, Северный Кавказ и Среднее Поволжье [Корсаков 2015: 20].

Организованные преступные сообщества, отличающиеся от других объединений длительностью своего существования, устойчивостью, высокой степенью конспирации, вооруженностью, широким составом активных участников, часто называют мафией. (Принято считать, что слово «мафия» – акроним, оно происходит от начальных букв знаменитого итальянского революционного лозунга времен антифранцузского восстания 1282 г.: «Morte alla Francia, Italia anela!» – «Смерть Франции, вздохни, Италия!» [Neier 1976: 239]. На сицилианском диалекте итальянского языка слово «мафия» означает «высокомерие», «снобизм», «чванство».)

Такие криминальные сообщества, как, например, американская мафиозная организация «Коза Ностра» («Наше дело»), передислоцированная в США эмигрантами из Италии, часто практикуют в своей преступной деятельности гангстерские, бандитские методы (убийства, шантаж, вымогательство, похищения людей (киднепинг), жестокие расправы над ренегатами и лицами, которые нарушили предписания «омерты» – внутреннего кодекса, закрепляющего круговую поруку и обязанность молчания), оказывают большое давление на бизнесменов, политических и общественных деятелей, совершают рейдерские захваты чужого бизнеса [Moynihan 1993: 19-20; Lippens 2010: 17].

Следует отметить, что сегодня на международном уровне ранее широко представленные итальянские мафиозные организации – «Коза Ностра» (о. Сицилия), «Каморра» (Кампания), «Ндрангета» (Калабрия), «Сакра Корона Унита» (Апулия), «Банда делла Мальяна» (Лацио, о. Сардиния), «Мала дел Брента» (Венето, Фриули-Венеция-Джулия), «Ла Стидда» (о. Сицилия), «Общество Онорты» (Калабрия) и «Базилиши» (Базиликата) – утратили пальму первенства, уступив первый план латиноамериканским (мексиканским, бразильским, колумбийским и др.), восточноевропейским (албанским, боснийским, российским и др.) и многочисленным китайским, в частности гонконгским и тайваньским, организованным преступным сообществам, которые в США носят название «тонги» [McCloskey 1965: 253; Frey 1984: 31].

В общей структуре преступных посягательств, совершаемых в наши дни именно мафиозными транснациональными объединениями, преобладают производство в промышленных объемах и распространение наркотиков, которые обеспечивают поступление более половины всех их криминальных доходов, контрабанда товаров, торговля оружием, в том числе ядерным [Лунеев 2005: 247], и людьми [Бриллиантов 2005: 48]. Ежегодные доходы от организованной преступной деятельности в мире оцениваются примерно в 400 миллиардов долларов США [Johnson, Toch 2015: 97].

В настоящее время в зависимости от этнического состава участников организованных преступных групп выделяются смешанные, состоящие из представителей многих народов и национальностей, и однородные

преступные сообщества (например, к их числу в России относятся курдско-езидские, ассирийские, вьетнамские, китайские, чеченские, азербайджанские, цыганские и иные преступные группировки). Актуальность данной градации обусловлена тем, что в текущий момент моноэтнические организованные преступные группировки составляют около 70% от числа всех организованных криминальных формирований [Ростокинский 2011: 244].

В среде авторитетов и лидеров этих криминальных объединений преобладают, выражаясь сухим, «казенно-протокольным» языком, «лица неславянской национальности»: так, например, из 499 действующих сейчас в России так называемых воров в законе 258 (то есть больше половины) – грузины, в том числе отдельно учитываемые в некоторых источниках сваны и мегрелы (представители картвельских народностей); 30 – армяне; 26 – езиды (немногочисленная этноконфессиональная группа курдов, некоторые представители которой считают себя отдельным этносом; среди езидских воров наиболее известны Аслан Усоян (кличка «Дед Хасан», 1937–2013), Темури Мирзоев («Тимур Свердловский», 1957–2014) и Захарий Калашов («Шакро Молодой»)); 14 – азербайджанцы (здесь учитываются также и талыши – представители иранского этноса, проживающие в Азербайджане; наиболее известен среди них Ровшан Джаниев («Ровшан Ленкоранский», 1975–2016); русских же среди них – только 12% [Барбашина 2015: 82].

Во время существования советского государства в сообществе воров в законе и в организованных преступных объединениях культивировались принципы и идеи аполитичности, общности целей и интересов, солидарности и интернационализма [Елеськин 2001: 36]. Распад Советского Союза, обострение межнациональных противоречий и череда межэтнических столкновений и конфликтов в Средней Азии, в кавказском и закавказском регионах изменили ситуацию: они привели не только к формированию замкнутых этнических криминальных диаспор и широкой практике сплачивания преступников исключительно по национальному признаку, но и к подчеркнуто враждебному, недоброжелательному отношению одних этнических преступных организаций к другим (в частности, осетинских преступных формирований и абхазского (сухумского) преступного сообщества – к грузинским, азербайджанских организованных преступных группировок – к армянским и т.д.).

В ходе длительного мониторинга нами была выявлена специализация организованных криминальных структур, сформированных по этническому признаку и действующих сегодня на территории Российской Федерации. Так, вайнахские, то есть чеченские (в г. Москве к ним относятся Центральная, Лазанская, Останкинская, Южнопортовая и др.) и ингушские, и дагестанские, в частности аварские, даргинские, лезгинские и многие другие, преступные группировки чаще всего задействованы в сферах незаконного оборота спирта, драгоценных металлов, легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, реализации похищенных («угнанных») автомобилей, вексельно-чекового обращения и подделки денежных знаков; картвельские, или грузинские, сообщества преимущественно занимаются незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также

похищением людей и захватом заложников (аманатов), армянские – изготовлением и сбытом поддельных печатей, штампов и бланков, преступлениями в области оборота ценных бумаг, золотовалютных операций и фальшивомонетничеством; азербайджанские криминальные сообщества, как правило, действуют в сфере незаконного оборота спиртных напитков, в области розничной и оптовой торговли на продуктовых рынках и продовольственных базах, а среднеазиатские, то есть таджикские, киргизские, узбекские и цыганские, организованные преступные формирования наиболее часто занимаются изготовлением, перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств растительного происхождения.

Подчеркнем, что организованные криминальные формирования нередко называются по месту их образования либо жительства большинства их участников. Так в г. Москве и Подмоскovie появились Ореховская, Перовская, Люберецкая, Коптевская, Подольская, Измайловская, Медведковская, Гольяновская, Балашихинская и считающаяся самой массовой в России (свыше 1500 активных участников и около 1000 единиц огнестрельного оружия) [Шеслер 2006: 19] Солнцевская преступные организации, в г. Казани – «Жилка» (от названия казанского микрорайона «Жилплощадка») и «Хади Такташ» (от наименования улицы, названной в честь татарского поэта Х.Х. Такташа (1900–1931)), в г. Екатеринбурге (тогда еще Свердловске) – основанное в 1989 г. братьями Константином и Григорием Цыгановыми Уралмашевское организованное преступное сообщество (от названия части Орджоникидзевского района – жилого микрорайона «Уралмаш»).

Помимо увеличения масштабов криминальных правонарушений, повышения уровня и степени их вредоносности опасность организованной преступности заключается в постоянном вовлечении в антиобщественную деятельности новых участников – вербовке и массовом рекрутировании представителей молодого поколения. В частности, подростковые организованные преступные группы («моталки») приобрели в 1990-е гг. в г. Казани настолько большой размах и распространенность, что многие жители этого крупного российского мегаполиса были вынуждены платить преступным лидерам некое «отступное», дабы те избавили их детей и внуков от своего опасного влияния.

Сегодня ученые-криминологи и эксперты отмечают усиление обозначившегося еще на рубеже XIX–XX вв. стремления организованных преступных сообществ проникнуть и закрепиться на политическом олимпе, воздействовать на процесс принятия властных и управленческих решений, чему способствуют значительное распространение в нашей стране коррупции, тотальный подкуп и принятие чиновников в состав преступных образований в качестве их активных участников и так называемых групп прикрытия [Бойцов, Гонтарь 2000: 36]. Особенно опасно то, что преобладающей в структуре должностных лиц, входящих в состав организованных преступных сообществ, является доля служащих правоохранительных органов – «оборотней в погонах» – и работников муниципальных органов власти.

В наши дни в России на оплату незаконных действий или же преступного бездействия российских коррумпированных представителей власти

(тотальный подкуп) криминальные организации ежегодно тратят почти 1/3 часть от всех своих незаконных доходов; большее количество денег расходуется ими лишь на личную охрану главарей, отдых, развлечения и различные предметы роскоши – автомобили, особняки, яхты и т.д. [Волконский 2014: 102; Николенко 2011: 25].

Российские организованные преступные сообщества продолжают внедрять своих ставленников и представителей в правоохранные структуры, всячески поддерживать и стимулировать сотрудничающих с ними «оборотней в погонах» и взяточников, совершать хищения в особо крупных размерах и «отмывать» (легализовывать) деньги, добытые противозаконным путем, осуществляя сложные схемы взаиморасчетов, кредитно-банковских финансовых операций и сделок, а также уклоняться от налогообложения, получая значительные неучтенные денежные средства от обширной сети торговых точек и приобретая с помощью все тех же коррумпированных должностных лиц необоснованные преимущества и льготы для своих коммерческих предприятий и фирм. Схожая картина наблюдается экспертами-криминологами из стран Западной Европы, Канады и США [Erikson 2005: 141; Stanley 2015: 34].

Не ослабевают попытки со стороны организованной преступности устанавить свой финансовый контроль за хозяйственной деятельностью стратегических, оборонных и градообразующих предприятий нашей страны, крупными транспортными артериями и торговыми сетями [Мондохонов 2003: 52]. При этом ее представители часто принимают непосредственное участие в переделе активов, собственности, в корпоративных и акционерных спорах, используют возможности процедуры банкротства, методы давления на собственников и наемных руководителей предприятий и введения в состав учредителей и правления юридических лиц своих аффилиатов.

Другая выявленная нами современная, тревожная и крайне негативная, тенденция заключается в том, что степень самозащиты членов российских организованных преступных сообществ повышается за счет использования новых, крайне скрытых и завуалированных приемов и способов деятельности, ее всевозможного прикрытия, налаживания прочных коррупционных связей, вмешательства и активного воздействия на ход расследования совершенных ими преступных посягательств.

Многие отечественные криминологи и социологи говорят о широком использовании в организованной криминальной деятельности современных прогрессирующих общественных проблем, «социальных язв» и перверсий, тесно связанных с преступностью негативных «фоновых» явлений – безработицы, низкой оплаты труда, вынужденной трудовой миграции, незанятости большей части русской молодежи, бродяжничества, попрошайничества, экстремизма и радикализма в политических взглядах, межнациональных и религиозных противоречий, наркомании, токсикомании, алкоголизма и проституции [Сулейманов 2009: 148].

За последние десять лет в России резко возрос уровень контрабандного ввоза из Афганистана (площадь посевов опиумного мака в этом государстве в 2014 г. превысила отметку в 200 000 гектаров), Пакистана, Узбекистана

и Таджикистана героина, маковой соломки и других наркотиков-опиатов [Репецкая 2015: 247], доходы от продажи которых часто вкладываются организованными преступными сообществами как в теневую, так и в легальный секторы экономики страны.

Сверхдоходность данного криминального промысла (совокупная прибыль, получаемая преступниками от оборота наркотических средств во всем мире, составляет сейчас более одного триллиона долларов США, что превосходит доходы на мировом рынке оружия и уступает лишь прибыли от торговли сырьем – нефтью, газом, металлом, углем, древесиной [Weyland 1998: 8; Christie 1997: 17]) привела к его скорой постановке еще в 90-е гг. XX столетия под полный контроль организованной преступности.

В настоящее время почти весь рынок контрабандно завозимых в наше государство наркотических средств как растительного, так и синтетического и полусинтетического происхождения («Белый китаец», крэг, ЛСД, МДМА («экстази»), JWH-018 и др.), а также пользующихся спросом психотропных веществ контролируется представителями организованной преступности.

Вторым по значимости для организованных преступных сообществ и бурно развивающимся сегодня во многих странах мира криминальным бизнесом является торговля людьми («гомотрафик»). Согласно валидным данным проводившегося на международном уровне исследования Российская Федерация наряду с Украиной и Нигерией входит в тройку мировых лидеров по данному виду преступной деятельности [Покаместов 2012: 75].

Сегодня внимание исследователей привлекают такие процессы, как существенное внутривидовое усложнение организованных преступных формаций, рост количества преступлений, совершаемых ими с использованием новых информационных технологий и инновационных технических разработок, а также усиление международной, транснациональной составляющей в системе организованной преступности.

Например, в настоящее время в России отмечаются проникновение на территорию страны и интеграция, сращивание с российской организованной преступностью китайских организованных преступных формирований, часто именуемых триадами (в самом Китае они преимущественно базируются в юго-восточной части этой страны, в автономном регионе Макао, на острове-государстве Тайвань и в многомиллионном г. Гонконге, где размещаются штаб-квартиры и разветвленная сеть филиалов таких наиболее известных китайских триад, как «Сунъион», «Во Он Лок», «14К» и «Во Хоп Ту»; в совокупности они насчитывают более 120 000 участников [Zamble, Porporino 2008: 102]).

Помимо общих причин и условий, характерных для всей преступности в целом, организованная преступность обуславливается и детерминируется своими специфическими факторами и предпосылками. Большинство из них имеет связь с негативными социальными изменениями, например такими, как обеднение, пауперизация и маргинализация населения страны. Этот аспект организованной преступности был выявлен и подробно описан еще в работах 20–30-х гг. XIX в. известного американского исследователя М. Шлаппа [Shlapp, Smith 1928: 142].

Отечественными криминологами некогда было подсчитано, что если увеличение безработицы на 1-2% вызывает прирост преступности на 4-5%, то в отношении организованной преступности этот прирост составляет уже 6-7% [Мохов 2006: 157]. Данная закономерность, на наш взгляд, объясняется во многом тем, что преступная деятельность людей, в одночасье массово лишившихся работы на предприятиях и в учреждениях, где они прежде трудились, и держащихся вместе, объединяющихся ввиду этой общей для них проблемы, приобретает не стихийный и фрагментарный, а групповой, коллективный и организованный характер. Она направлена на совершение имущественных общеуголовных преступлений (кражи, грабежи, разбои, браконьерство, сбыт поддельных денежных знаков, вымогательство, бандитизм) и становится регулярной, хронической из-за необходимости постоянного получения средств к существованию.

К тому же добавим, что деклассированные, люмпенизированные и маргинализованные классы и прослойки общества гораздо легче и чаще вовлекаются организаторами преступлений в противозаконную деятельность, нежели остальные социальные слои.

Отсутствие развитых, ресурсно обеспеченных и эффективно работающих институтов ресоциализации и социальной адаптации бывших заключенных, очевидные изъяны в данной сфере государственной политики приводят к тому, что организованные преступные сообщества пополняются лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы и не нашедшими себе достойного места в обществе, а также не востребованными техническими и иными специалистами, обладающими знаниями и умениями, необходимыми для целого ряда видов преступной деятельности, спортсменами, уволенными со службы или ушедшими в отставку бывшими военнослужащими и испытывающими трудности в трудоустройстве и самореализации бывшими сотрудниками правоохранительных ведомств [Bondenson 2013: 206].

В наши дни в России многие действующие сотрудники внутренних дел по-прежнему участвуют в охране зданий, помещений и иного имущества различных коммерческих организаций, что на практике нередко ведет к установлению неформальных отношений и криминальных связей с организованными преступными объединениями, представители которых выступают учредителями или же «курируют» деятельность этих предприятий. Также вызывает тревогу, что членство в организованных преступных группировках и экстремистских сообществах по-прежнему оказывается привлекательным для молодых людей, живущих в России и испытывающих нравственный и духовно-ценностный кризис, выражающих социальный протест либо просто стремящихся к скорому обогащению любыми средствами и ценой, нередко исповедующих ложные, навязанные им жизненные принципы и идеалы.

Благодатной и питательной почвой для воспроизводства и развития организованной преступности является довольно большой криминогенный потенциал населения нашей страны: на сегодняшний момент в Российской Федерации большое число граждан, живших еще в Советском Союзе, по-

бывали в местах заключения: колониях, тюрьмах и СИЗО, закрепив в своем поведении целый ряд нормативов, поведенческих стандартов, ментальных схем и иных элементов тюремной субкультуры, в частности отрицание и осуждение любой помощи или же содействия правоохранительным органам государства. У немалой части этих людей отсутствует крайне необходимое гражданскому обществу протестное и непримиримое отношение абсолютно к любой незаконной деятельности со стороны преступных элементов.

Одной из предпосылок распространения организованной преступности в России явилось значительное ослабление существовавшей ранее системы противоборства данной разновидности преступности, апогеем которого явилась ликвидация в 2008 г. всех специализированных подразделений МВД России по борьбе с организованной преступностью (за историю своего недолгого существования они обозначались аббревиатурами РУОП, УБОП, РУБОП, ОРБ) с передачей их функционала отделениям уголовного розыска и УЭБиПК (подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России.

На наш взгляд, данная поспешная ликвидация была преждевременной и привела к отрицательному эффекту. Поэтому мы предлагаем воссоздать отдельные подразделения российской полиции по борьбе с организованной преступностью. Достаточно вспомнить, что только в 2006 г., за два года до роспуска, на Дальнем Востоке сотрудниками УБОПа было ликвидировано одно из наиболее крупных, массовых, опасных и дерзких организованных преступных сообществ последнего десятилетия – «Общак», которое имело обширную сеть региональных «филиалов» с центром в г. Комсомольске-на-Амуре. При этом выражаем свои опасения, что сохраняющаяся высокая степень коррумпированности и бюрократизации всей отечественной системы правоохранительных органов будет сглаживать и нивелировать успехи и усилия этой воссозданной специализированной структуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Анисимков В.М. 1998. Тюрьма и ее законы. Саратов : Изд-во Саратов. гос. акад. права. 103 с.
- Барбашина Н.Л. 2015. Организованная преступность и бандитизм в странах СНГ. Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та. 208 с.
- Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я. 2000. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива // Государство и право. № 11. С. 35-43.
- Бриллиантов А.В. 2005. Организация незаконной миграции // Рос. следователь. № 5. С. 48-50.
- Ван-Кан Ж. 1915. Экономические факторы преступности. М. : Изд-во Г.А. Леман. 336 с.
- Волконский В.И. 2014. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та. 215 с.
- Гаухман Л.Д., Максимов С.В. 1997. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). М. : ЮрИнфоР. 127 с.

Грошев А.В. 2004. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения // Уголовное право. № 3. С. 26-28.

Гуров А.И. 1995. Красная мафия. М. : Вестник. 352 с.

Долгова А.И. 2011. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М. : Рос. криминолог. ассоциация. 668 с.

Елеськин М.В. 2001. О преступном сообществе «воров в законе» (криминологическая характеристика личности «вора в законе» и преступного сообщества «воров в законе») // Следователь. № 5. С. 35-41.

Козаченко И.Я., Корсаков К.В. 2011. Криминология. М. : Норма, Инфра-М. 304 с.

Корсаков К.В. 2015. Адекватность и соразмерность превенции – залог эффективности борьбы с современной организованной преступностью // Правоохранительные органы: теория и практика. № 1. С. 19-22.

Кузьмичев А.Г. 2008. Проблемы расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками // Следователь. № 11. С. 19-23.

Лунеев В.В. 2005. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М. : Волтерс Клувер. 912 с.

Мондохонов А. 2003. Преступное сообщество (преступная организация): понятие, признаки и проблемы квалификации // Рос. юстиция. № 11. С. 52.

Мордовец А. 2001. Преступное сообщество: уточнение условий ответственности // Законность. № 9. С. 41-42.

Мохов Е.А. 2006. ФСБ: борьба с организованной преступностью. М. : Вуз. кн. 316 с.

Николенко Т.А. 2011. Конвенционные положения о противодействии коррупции в российском уголовном законодательстве // Законность. № 3. С. 24-28.

Олейник А.Н. 2001. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М. : Инфра-М. 430 с.

Осипкин В.Н. 1998. Организованная преступность. СПб. : Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ. 140 с.

Покаместов А.В. 2012. Ответственность за организацию преступной деятельности. М. : Изд-во ВНИИ МВД РФ. 128 с.

Репецкая А.Л. 2015. Транснациональная организованная преступность. Иркутск : Изд-во Байкал. гос. ун-та экономики и права. 490 с.

Ростокинский А.В. 2011. Субкультурный конфликт плюс организованная преступность равно организованная преступность плюс экстремизм (опыт десятилетних наблюдений). Саратов : Сарат. источник. 454 с.

Сулейманов А.Л. 2009. К вопросу о некоторых направлениях транснациональной преступности // «Черные дыры» в российском законодательстве. № 1. С. 148-150.

Терешенок А.Я., Подлесских Г.Ю. 1995. Воры в законе: бросок к власти. М. : Худож. лит. 254 с.

Федорчук В.В. 1984. Укрепление правопорядка – наша общая задача // Полит. самообразование. № 6. С. 28-33.

Шеслер А.В. 2006. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад. права. 152 с.

Bondenson U. 2013. Prisoners in Prison Societies. New Brunswick : Transaction Publishers. 371 p.

Christie N. 1997. Conflicts as Property // British J. of Criminology. Vol. 17. P. 1-26.

Currie E. 2013. Crime and Punishment in America. New York : Picador. 288 p.

- Erikson K. 2005. *Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance*. Bloomington : Allyn and Bacon. 250 p.
- Frey R.G. 1984. *Utility and Rights*. Minneapolis : Univ. of Minnesota Press. 256 p.
- Johnson R., Toch H. 2015. *Crime and Punishment: Inside Views*. Los Angeles : Roxbury Pub Co. 246 p.
- Lippens R. 2010. *The Interstitial and Creativity: Bergson and Fitzpatric on the Emergence of Law* // J. of Theoretical and Philosophical Criminology. Vol. 2. P. 1-21.
- McCloskey H.J. 1965. *A Non-Utilitarian Approach to Punishment* // Inquiry. Vol. 8. P. 249-263.
- Moynihan D.P. 1993. *Defining Deviancy Down* // The American Scholar. Vol. 62, № 1. P. 17-30.
- Neier A. 1976. *Crime and Punishment: A Radical Solution*. New York : Stein and Day. 239 p.
- Rawls J.A. 1991. *Theory of Justice*. Cambridge : Harvard Univ. Press. 607 p.
- Shlapp M., Smith E. 1928. *The New Criminology. A Consideration of Criminal Causation of Abnormal Behavior*. New York : Boni and Liveright. 272 p.
- Stanley D.T. 2015. *Prisoners Among Us: The Problem of Parole*. Washington : Brookings Institution. 222 p.
- Weyland K. 1998. *The Politics of Corruption in Latin America* // J. of Democracy. Vol. 2. P. 108-121.
- Zamble E., Porporino F.J. 2008. *Coping, Behavior and Adaptation in Prison Inmates*. New York : Springer-Verlag. 204 p.



Korsakov, K. *Kriminologicheskiy i ugodovno-pravovoy analiz sovremennoy organizovannoy prestupnosti* [Criminological and criminal-legal analysis of contemporary organized crime], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 67-84. (in Russ.).

Konstantin V. Korsakov, Candidate of Law, Associate Professor, Senior Researcher, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg. E-mail: korsakovekb@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0002-5136-562X

Article received 27.01.2017, accepted 01.03.2017, available online 01.10.2017.

CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL-LEGAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY ORGANIZED CRIME

Abstract. The article deals with diverse juridical and criminological characteristic of contemporary organized crime as one of the most socially dangerous and destructive phenomenon of our time. The author provides information about the history of organized crime in Russia, the main characteristics, qualitative and quantitative parameters of modern organized crime, recent changes of its level, dynamics, structure, and latency; he indicates the prevailing causes, conditions and prerequisites for the spread of organized crime. The article describes the main characteristics of organized criminal groups and criminal communities (criminal organizations). In addition, the article highlights and describes in detail the most destructive tendencies and prospects of development of organized crime at

the present stage: focus on the implementation of the representatives of organized criminal associations into governmental institutions, law enforcement and regulatory powers; further expansion of corrupt relations, and the system of bribery of officials; establishment of control over the economic activities of large domestic enterprises; redistribution of property; yield on the transnational level, and hijacking of the business through raiding. The author argues for the need of re-establishment of specialized units combating organized crime in the structure of the bodies of internal affairs of the Russian Federation.

Keywords: organized crime; mafia; criminal behavior prevention; transnational crime; law enforcement; causes and conditions of crime; dynamics of crime in Russia; tendencies of development of crime; fight against crime.

References

Anisimkov V.M. *Tyur'ma i ee zakony* [The prison and its laws], Saratov, Izd-vo Sarat. gos. akad. prava, 1998, 103 p. (in Russ.).

Barbashina N.L. *Organizovannaya prestupnost' i banditizm v stranakh SNG* [Organized crime and banditry in the CIS countries], Minsk, Izd-vo Belorus. gos. un-ta, 2015, 208 p. (in Russ.).

Bojcov L.N., Gontar I.Y. *Ugolovno-pravovaya bor'ba s organizovannoy prestupnost'yu: illyuzii, real'nost' i vozmozhnaya al'ternativa* [Criminal law against organized crime: illusion, reality and a possible alternative], *Gosudarstvo i pravo*, 2000, no. 11, pp. 35-43. (in Russ.).

Bondenson U. *Prisoners in Prison Societies*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2013, 371 p.

Brilliantov A.V. *Organizatsiya nezakonnoy migratsii* [Organization of illegal migration], *Ros. sledovatel'*, 2005, no. 5, pp. 48-50. (in Russ.).

Christie N. Conflicts as Property, *British J. of Criminology*, 1997, vol. 17, pp. 1-26.

Currie E. *Crime and Punishment in America*, New York, Picador, 2013, 288 p.

Dolgova A.I. *Kriminologicheskie otsenki organizovannoy prestupnosti i korruptsii, pravovye batalii i natsional'naya bezopasnost'* [Criminological assessment of organized crime and corruption, legal battles and national security], Moscow, Ros. kriminolog. assotsiatsiya, 2011, 668 p. (in Russ.).

Eleskin M.V. *O prestupnom soobshchestve «vorov v zakone» (kriminologicheskaya kharakteristika lichnosti «vora v zakone» i prestupnogo soobshchestva «vorov v zakone»)* [On the criminal community of «thieves in law» (criminological characteristics of the personality «thief in law» and the criminal community of «thieves in law»)], *Sledovatel'*, 2001, no. 5, pp. 35-41. (in Russ.).

Erikson K. *Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance*, Bloomington, Allyn and Bacon, 2005, 250 p.

Fedorchuk V.V. *Ukreplenie pravoporyadka – nasha obshchaya zadacha* [Strengthening the rule of law – our common task], *Polit. samoobrazovanie*, 1984, no. 6, pp. 28-33. (in Russ.).

Frey R.G. *Utility and Rights*, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1984, 256 p.

Gauhman L.D., Maksimov S.V. *Ugolvnaya otvetstvennost' za organizatsiyu prestupnogo soobshchestva (prestupnoy organizatsii)* [Criminal liability for organization of a criminal community (criminal organization)], Moscow, YurInfoR, 1997, 127 p. (in Russ.).

Groshev A.V. *Otvetstvennost' za organizatsiyu prestupnogo soobshchestva (prestupnoy organizatsii): voprosy kriminalizatsii i pravoprimeneniya* [Responsibility for the organization of a criminal community (criminal organization): criminalization and law enforcement], *Ugolovnoe pravo*, 2004, no. 3, pp. 26-28. (in Russ.).

- Gurov A.I. *Krasnaya mafiya* [Red mafia], Moscow, Vestnik, 1995, 352 p. (in Russ.).
- Johnson R., Toch H. *Crime and Punishment: Inside Views*, Los Angeles, Roxbury Pub Co, 2015, 246 p.
- Korsakov K.V. *Adekvatnost' i sorazmernost' preventsii – zalog effektivnosti bor'by s sovremennoy organizovannoy prestupnost'yu* [The adequacy and proportionality of prevention – the key to the effectiveness of the fight against modern organized crime], *Pravohranitel'nye organy: teoriya i praktika*, 2015, no. 1, pp. 19-22. (in Russ.).
- Kozachenko I.Y., Korsakov K.V. *Kriminologiya* [Criminology], Moscow, Norma, Infra-M, 2011, 304 p. (in Russ.).
- Kuzmichev A.G. *Problemy rassledovaniya prestupleniy, sovershennykh molodezhnymi organizovannymi gruppirovkami* [Problems of investigation of crimes committed by youth organized groups], *Sledovatel'*, 2008, no. 11, pp. 19-23. (in Russ.).
- Lippens R. The Interstitial and Creativity: Bergson and Fitzpatric on the Emergence of Law, *J. of Theoretical and Philosophical Criminology*, 2010, vol. 2, pp. 1-21.
- Luneev V.V. *Prestupnost' XX veka: mirovye, regional'nye i rossijskie tendentsii* [Crime of the twentieth century: global, regional and Russian trends], Moscow, Volters Kluver, 2005, 912 p. (in Russ.).
- McCloskey H.J. A Non-Utilitarian Approach to Punishment, *Inquiry*, 1965, vol. 8, pp. 249-263.
- Mohov E.A. *FSB: bor'ba s organizovannoy prestupnost'yu* [The FSS: the fight against organized crime], Moscow, Vuz. kn., 2006, 316 p. (in Russ.).
- Mondohonov A. *Prestupnoe soobshchestvo (prestupnaya organizatsiya): ponyatie, priznaki i problemy kvalifikatsii* [Criminal community (criminal organization): the concept, characteristics and problems of qualification], *Ros. yustitsiya*, 2003, no. 11, p. 52. (in Russ.).
- Mordovets A. *Prestupnoe soobshchestvo: utochnenie usloviy otvetstvennosti* [The criminal community: specify the conditions of responsibility], *Zakonnost'*, 2001, no. 9, pp. 41-42. (in Russ.).
- Moynihan D.P. Defining Deviancy Down, *The American Scholar*, 1933, vol. 62, no. 1, pp. 17-30.
- Neier A. *Crime and Punishment: A Radical Solution*, New York, Stein and Day, 1976, 239 p.
- Nikolenko T.A. *Konventsionnye polozheniya o protivodeystvii korruptsii v rossiyskom ugolovnom zakonodatel'stve* [The convention's provisions on combating corruption in the Russian criminal law], *Zakonnost'*, 2011, no. 3, pp. 24-28. (in Russ.).
- Olejnik A.N. *Tyuremnaya subkul'turav Rossii: ot povsednevnoy zhizni dogosudarstvennoy vlasti* [Prison subculture in Russia: from everyday life to public authorities], Moscow, Infra-M, 2001, 430 p. (in Russ.).
- Osipkin V.N. *Organizovannaya prestupnost'* [Organized crime], St. Petersburg, Izd-vo S.-Peterburg. yurid. in-ta General'noy prokuratury RF, 1998, 140 p. (in Russ.).
- Pokamestov A.V. *Otvetstvennost' za organizatsiyu prestupnoy deyatel'nosti* [Responsibility for the organization of criminal activity], Moscow, Izd-vo VNII MVD RF, 2012, 128 p. (in Russ.).
- Rawls J.A. *Theory of Justice*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1991, 607 p.
- Repetskaya A.L. *Transnacional'naya organizovannaya prestupnost'* [Transnational organized crime], Irkutsk, Izd-vo Bayka. gos. un-ta ekonomiki i prava, 2015, 490 p. (in Russ.).
- Rostokinskiy A.V. *Subkul'turnyy konflikt plyus organizovannaya prestupnost' ravno organizovannaya prestupnost' plyus ekstremizm (opyt desyatiletnikh nablyudeniy)* [Subcultural conflict plus organized crime is still organized crime plus extremism (experience ten years of observations)], Saratov, Sarat. istochnik, 2011, 454 p. (in Russ.).

Shesler A.V. *Gruppovaya prestupnost': kriminologicheskie i ugovolno-pravovye aspekty* [Group crime: criminological and criminal law aspects], Saratov, Izd-vo Sarat. gos. akad. prava, 2006, 152 p. (in Russ.).

Shlapp M., Smith E. *The New Criminology. A Consideration of Criminal Causation of Abnormal Behavior*, New York, Boni and Liveright, 1928, 272 p.

Stanley D.T. *Prisoners Among Us: The Problem of Parole*, Washington, Brookings Institution, 2015, 222 p.

Suleymanov A.L. *Kvoprosu o nekotorykh napravleniyakh transnatsional'noy prestupnosti* [On some areas of transnational crime], «*Chernye dyry*» v rossiyskom zakonodatel'stve, 2009, no. 1, pp. 148-150. (in Russ.).

Tereshenok A.Y., Podlesskikh G.J. *Vory v zakone: broсок k vlasti* [Thieves-in-law: throw to the power], Moscow, Khudozh. lit., 1995, 254 p. (in Russ.).

Van-Kan J. *Ekonomicheskie faktory prestupnosti* [Economic factors of crime], Moscow, Izd-vo G.A. Leman, 1915, 336 p. (in Russ.).

Volkonskiy V.I. *Bor'ba s organizovannoy prestupnost'yu v ekonomicheskoy sfere* [The fight against organized crime in the economic sphere], Moscow, Izd-vo Mosk. gos. un-ta, 2014, 215 p. (in Russ.).

Weyland K. The Politics of Corruption in Latin America, *J. of Democracy*, 1998, vol. 2, pp. 108-121.

Zamble E., Porporino F.J. *Coping, Behavior and Adaptation in Prison Inmates*, New York, Springer-Verlag, 2008, 204 p.



Савоськин А.В. «Обращения граждан» как правовая категория // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 85–99.

УДК 342.736

DOI 10.17506/ryipl.2016.17.3.8599

«ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН» КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Александр Владимирович Савоськин

кандидат юридических наук, доцент,

советник судьи Уставного Суда Свердловской области,

г. Екатеринбург.

E-mail: savoskinav@yandex.ru

Материал поступил в редколлегию 23.01.2017 г.

Статья 33 Конституции Российской Федерации предусматривает право граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. Вместе с тем Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», содержащий нормативное определение термина «обращения», ограничивается перечислением его разновидностей и в лучшем случае указывает адресатов, но не отражает признаков обращения как юридической категории и феномена.

В публикации представлено лексико-юридическое исследование термина «обращение», а также анализ практики его применения в законодательстве. Сделан вывод о том, что термин «обращение» должен применяться только в сочетании с дополнительным словом, уточняющим его содержание. С учетом научных трудов отечественных и зарубежных исследователей, практических наработок и исходя из положений нормативных актов автор сформулировал следующее определение термина «обращение гражданина»: это подлежащее обязательному рассмотрению волеизъявление индивида (группы индивидов или их объединения), соответствующее по форме нормативно установленным правилам, выражающееся в виде письменного, устного или конклюдентного требования о реализации своих прав, свобод и законных интересов, обращенное к органу государственной власти, органу местного самоуправления или организации, реализующей публично значимую функцию, а также к их должностным лицам.

Таким образом, признаками обращения являются: 1) обязательность рассмотрения, 2) особый субъект волеизъявления, 3) объективная сторона в виде действия, 4) специальная процессуальная форма, 5) цель и 6) адресат. Перечисленные шесть признаков являются необходимыми и достаточными, а сформулированная дефиниция не только характеризует обращения граждан с фактической и юридической точек зрения, но и позволяет отграничить их от иных смежных категорий.

В определении нашли отражение новации в законодательстве последних лет, касающиеся изменения субъектного состава заявителей (путем включения в их число объединений граждан) и адресатов (в силу распространения законодательства об

обращения на государственные (муниципальные) учреждения, а также организации, реализующие публично значимые функции).

Ключевые слова: обращение гражданина, понятие обращения, заявитель, законодательство об обращениях, адресат обращения, цель обращения.

Прежде чем начать рассмотрение термина «обращения граждан», отметим, что само слово «обращение» встречается в нормативных актах достаточно часто. Так, только федеральных законов, упоминающих данное понятие, более тысячи, из которых пять (не считая законов о внесении изменений в них) содержат термин «обращение» в своем названии.

Вместе с тем необходимо учитывать, что слово «обращение» в русском языке употребляется широко и имеет несколько значений.

С.И. Ожегов указывает четыре значения слова «обращение»: проявление отношения к кому-чему-нибудь в поведении, в поступках (*ласковое обращение с ребенком, небрежное обращение с вещами*); призыв, речь или просьба, обращенные к кому-нибудь (*обращение к народу, выступить с обращением*); процесс обмена, оборота, участие в употреблении (*обращение товаров, вошло в обращение новое слово*); особый лингвистический термин, применяемый в грамматике и обозначающий называющее лицо (реже – предмет), к которому обращена речь [Ожегов 1989: 641].

Все это многообразие значений слова «обращение» воспринял и законодатель. Так, в Конституции РФ слово «обращение» использовано в двух разных значениях: как проявление отношения (ч. 2 ст. 21, согласно которой никто не может подвергаться *обращению*, унижающему человеческое достоинство) и как вид волеизъявления граждан, направленного органам публичной власти (ст. 33, согласно которой граждане имеют право направлять индивидуальные и коллективные *обращения*).

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» использует термин «обращение» для обозначения процесса оборота. То есть под обращением понимаются различные регламентируемые действия, совершаемые с лекарственными средствами, а именно разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств (ст. 4).

Встречаются в федеральных законах и сугубо юридические значения слова «обращение», не указанные в обычных толковых словарях, например обращение к исполнению (гл. 46 УПК РФ) или обращение взыскания (ст. 237 ГК РФ). В таких случаях термин «обращение» неразрывно связывается с иным термином, что придает ему самостоятельное значение. Так, «обращение к исполнению» обозначает момент (конкретный временной отрезок) начала исполнения (реализации) судебного акта. «Обращение взыскания на имущество» – это также самостоятельный юридический термин, означающий выявление, арест и продажу имущества не вернувшего долг должни-

ка с целью передачи вырученных от продажи средств кредитору [Райзберг, Лозовский, Стародубцева 2006: 390].

Пожалуй, наиболее распространенным в отечественном законодательстве значением слова «обращение» является требование уполномоченного субъекта к обязанному субъекту в целях реализации им своих прав и законных интересов. В этом значении термин «обращение» используется, например, в гл. 6 «Предварительное рассмотрение обращений» Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в ст. 333.37 «Льготы при обращении в арбитражные суды» Налогового кодекса Российской Федерации и во многих других актах.

Лексический и юридический анализ позволяют заключить, что термин «обращение» надлежит использовать и изучать с учетом контекста его применения. Вместе с тем указанный вывод расходится с обязательным требованием к правовым нормам об их формальной определенности, ясности и недвусмысленности. Поэтому можно утверждать, что термин «обращение» должен применяться только в сочетании со словом, уточняющим его содержание, например, «обращение Президента РФ», «обращение гражданина», «обращение взыскания», «обращение с оружием», «обращение наркотических средств», «жестокое обращение» и т.д. В приведенных случаях каждое словосочетание отражает самостоятельное правовое явление, регулируемое совершенно разными правовыми нормами и соответственно порождающее различные правовые последствия. Попытаться искать между ними параллели, общие признаки и элементы бессмысленно, так как эти правовые категории, несмотря на совпадение ключевого слова «обращение», регулируют различные правовые отношения.

Использование термина «обращение» как равнозначного термину «обращение гражданина» является не совсем корректным, однако оно вполне укладывается в постсоветскую модель юридической терминологии, в соответствии с которой вслед за Указом Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» многие законы стран СНГ используют термины «обращение» и «обращения граждан» как синонимы (например, Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года № 1064-ХІІ «Об обращениях граждан» и Закон Туркменистана от 14 января 1999 года № 342-І «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения»). Аналогичную позицию по этому вопросу занимает и отечественный законодатель, который в ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» указал, что для обозначения термина «обращения граждан» допустимо использовать термин «обращение».

Практика применения указанных терминов в отечественной научной литературе также подтверждает их синонимичность. Так, большинство авторов свободно употребляют термины «обращение» и «обращение гражданина», не акцентируя внимание на их различии [Зорькин 2011: 209; Смушкин 2011]. Например, С.А. Ширококов предлагает следующее определение: «Обращение – это, прежде всего, волеизъявление индивида, выраженное в конкретном действии, имеющее письменную или устную форму, соответствующую правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах,

направленное в органы государства или органы местного самоуправления в видах, необходимых для того, чтобы реализовать, предоставить, защитить или восстановить права и свободы» [Широбоков 1999: 14; Широбоков 2015: 6]. Как видно из указанного определения, речь идет именно об обращениях граждан, но не органов власти или каких-либо иных обращениях вообще.

На наш взгляд, термин «обращение» в значении «волеизъявление» является самостоятельным юридическим понятием, образует отдельный правовой институт (вне зависимости от субъекта, его выражающего) и не может быть отождествлен с иными парными правовыми категориями, включающими слово «обращение». К сожалению, законодатель зачастую бессистемно использует этот термин, не всегда разграничивает обращения в широком смысле и непосредственно обращения граждан, что порождает определенные сложности в правоприменении.

Проблематика понятийного аппарата не исчерпывается соотношением и использованием понятий «обращение» и «обращение гражданина», а включает как минимум еще два аспекта. Это, прежде всего, отсутствие развернутого нормативного определения категории «обращение» и, затем, неудачное интегрирование законодателем новых субъектов права на обращение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в целом и его понятийный аппарат в частности.

В соответствии с нормативным определением обращение – это направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.

Неудачность легального определения проявляется в следующем. Во-первых, законодатель не указывает признаков и свойств, определяющих обращения граждан как самостоятельное явление общественной и правовой действительности. Данное замечание применимо и к изложенным в законе дефинициям видов обращений граждан. Во-вторых, перечень видов обращений граждан является закрытым: предложения, заявления, жалобы. Теоретически это означает, что иные волеизъявления граждан в адрес органов власти обращениями не являются, что не соответствует ни сложившейся практике, ни российскому законодательству, достаточно широко применяющему термин «обращение» при характеристике иных волеизъявлений граждан.

Научные определения термина «обращение» встречаются достаточно редко, однако здесь можно выделить несколько подходов.

Первый подход базируется на нормативном определении, то есть авторы в той или иной мере комментируют положение ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», не обращая внимание на его изначальную ущербность. При таком подходе дефиниции, как правило, грешат тавтологией, когда право на обращение раскрывается через *возможность обратиться* [Ольшевская 2013: 5].

Второй подход основывается на идее о том, что обращение – это способ осуществления и охраны прав личности или средство участия граждан

в управлении делами государства [Беляков 2014: 11], что, конечно, верно, но не исчерпывает многообразия видов обращений.

Третий подход, заложенный С.А. Ширококовым, базируется на уже приведенном выше утверждении, что обращение есть *форма волеизъявления*. Этот тезис развивает, например, К.А. Черкесов: «Обращение представляет собой волеизъявление индивида или группы лиц, адресованное органу публичной власти или иному институту, на который возложено исполнение государственных функций, направленное на достижение определенных целей» [Черкесов 2010: 9]. Аналогичную позицию занимает белорусский исследователь Д.Г. Нилов, который под обращением гражданина предлагает понимать «...его волеизъявление, направленное на реализацию прав, свобод или законных интересов путем определенной формы взаимодействия с государственными органами, иными организациями (должностными лицами)» [Нилов 2010: 12].

Четвертый подход является относительно новым и определяет обращение как «...*действие* в установленной законом юридической форме (письменно, устно), которое создает информационный повод и запускает действие государственного механизма, обеспечивающего соблюдение, охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина» [Тюрина, Борисов 2012: 13]. Аналогичное, но более подробное определение предлагает В.А. Мещерягина: «Обращение – это волевое действие индивидуального или коллективного субъектов в устной, письменной либо электронной формах, направленное органам государственной власти, местного самоуправления, государственным, муниципальным учреждениям и иным организациям, должностным лицам с целью побуждения их к реализации принадлежащих им полномочий в целях удовлетворения интереса инициатора» [Мещерягина 2015: 65].

Не претендуя на постижение истины в последней инстанции, предлагаем следующее определение: *обращение гражданина* – это подлежащее обязательному рассмотрению волеизъявление индивида (группы индивидов или их объединения), соответствующее по форме нормативно-установленным правилам, выражающееся в виде письменного, устного или конклюдентного требования о реализации своих прав, свобод и законных интересов, обращенное к органу государственной власти, органу местного самоуправления или организации, реализующей публично значимую функцию, а также к их должностным лицам.

Представляется, что такое определение содержит необходимый и достаточный набор признаков исследуемого явления, а именно: субъект обращения, объективную сторону в виде волеизъявления, процессуальную форму, адресат, цель обращения, а также императивность принятия и рассмотрения обращений.

Только все шесть элементов в совокупности позволяют раскрыть содержание и назначение обращений граждан как юридической категории и факта действительности. Отсутствие любого из вышеперечисленных элементов отменяет обращение гражданина как таковое или трансформирует его в иной вид волеизъявления.

Рассмотрим каждый признак подробнее.

1. Субъектом обращения всегда является индивид, группа индивидов или объединение индивидов (организация), но не органы публичной власти или их должностные лица. В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», равно как и в Конституции РФ, термин «индивид» отсутствует, однако он активно используется в научной литературе для обозначения человека и гражданина как самостоятельного субъекта права [Лаптев 1999].

Термин «индивид» выбран не случайно. Он является обобщающим научным термином и, как справедливо отмечает Н.И. Матузов, «под словом “индивид” понимается человек, а не какое-либо иное существо» [Матузов 1972: 292], что позволяет избежать полемики по поводу его соотношения с терминами «личность», «человек», «гражданин» и т.п. Кроме того, содержание термина «индивид» уже содержания термина «субъект права», то есть он является более конкретным, при этом акцентирует, что исследуемое субъективное право принадлежит любому (каждому) вне зависимости от наличия гражданства.

Термин «индивид», в отличие от абстрактных терминов «субъект» или «лицо», позволяет подчеркнуть принадлежность права на обращение человеку, а не органу власти, то есть частному, а не публично-правовому субъекту.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ только граждане Российской Федерации наделены правом на обращение. Иностранцы граждане и лица без гражданства пользуются им, если соответствующие исключения не установлены федеральным законом. Этот тезис основывается на ч. 3 ст. 62 Конституции РФ и ст. 4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ.

В настоящий момент универсальные акты, устанавливающие ограничения права на обращение для лиц, не являющихся гражданами РФ, отсутствуют. Даже в тех случаях, когда иностранец не обладает субъективным правом, о реализации которого он просит, он не лишен возможности подать соответствующее заявление, а органы власти обязаны дать на него может быть и отрицательный, но мотивированный ответ.

Индивидуальное право человека на обращение (по Конституции РФ) дополняется возможностью подачи коллективных обращений. Такие обращения ничем принципиально не отличаются от индивидуальных, поскольку субъектом волеизъявления по-прежнему остается каждый индивид, подписавший обращение. Гораздо более сложным и дискуссионным является вопрос признания субъектом обращения объединений граждан – организаций (прежде всего, юридических лиц).

Ст. 33 Конституции РФ и первоначальные редакции ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в качестве субъектов, уполномоченных направлять обращения, называли только граждан. Это порождало неопределенность относительно возможности направлять обращения от имени юридических лиц.

Поправки в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 07 мая 2013 года прояснили ситуацию, но не устранили всех проблем. Скорее наоборот, официальное включение юридических лиц и объединений граждан в число субъектов права на обращение поставило перед юридической наукой очередную проблему. В настоящий момент наименование Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и его содержание (за исключением ст. 1 и 2) никоим образом не отражают особенностей, связанных с подачей обращений новыми субъектами.

2. Объективная сторона обращения выражена волеизъявлением и представляет собой процесс подачи обращения индивидом адресату. Это внешнее (а не внутреннее) проявление деятельности человека, отражающее поведение индивида, а именно реальные действия по направлению обращения.

Объективная сторона не охватывает внутренние, то есть психические, процессы формулирования волеизъявления и причины, побудившие человека обратиться. Она отражает конечную реализацию обращения в письменной, устной или конклюдентной форме путем предъявления соответствующего требования к адресату.

Несмотря на то что воля традиционно относится к внутреннему миру человека, ее использование при характеристике объективной стороны не случайно. В.И. Даль трактовал волю «...как данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках» [Даль 1978: 238]. Только исключительно внутреннее состояние человека может дать толчок для обращения; это либо недовольство чем-то, либо несогласие с кем-то, либо желание выразиться. Однако юридически значимым может быть только волеизъявление, которое является результатом свободного выбора [Кравец 2012: 35] определенного варианта поведения, выраженного вовне. При этом с процессуальной точки зрения волеизъявление – это всегда действие. Направление обращения путем бездействия невозможно.

Важно понимать, что порядок реализации волеизъявления включает не только внешнюю форму самого обращения (устную, письменную или конклюдентную), но и конкретный способ его подачи (на личном приеме, посредством почтовой или телефонной связи, через сеть Интернет и т.д.).

Необходимая степень нормативного регулирования внешней формы волеизъявления требуется не столько для упорядочивания процедуры рассмотрения обращений граждан, сколько для обеспечения защиты прав заявителя, особенно в случае игнорирования его требований. Однако волеизъявление гражданина первично и по общему правилу не может ставиться в зависимость от конкретной формы его реализации. Иными словами, гражданин сам выбирает конкретную форму и способ подачи обращения, если иное прямо не указано в законе.

3. Признаком, близко связанным с объективной стороной волеизъявления, но не совпадающим с ним по содержанию, является процессуальная форма обращения. Если первая определяет способ подачи обращения, то вторая представляет собой нормативно установленный набор обязательных требований к реквизитам и содержанию обращения. Трудно сказать,

что является первичным в этой диаде. С одной стороны, способ подачи (объективная сторона), безусловно, напрямую зависит от формы обращения, поскольку, например, устное обращение невозможно подать по факсу или почтой, а письменное – по телефону. С другой стороны, процессуальная форма обращения может вообще отсутствовать как таковая, если речь идет о конклюдентных обращениях, когда волеизъявление происходит путем совершения простого и понятного действия (например, выбора зеленого коридора при таможенном оформлении).

Число нормативных актов, регламентирующих требования к волеизъявлению граждан в конкретных условиях, велико, соответственно существует множество различных их процессуальных форм. Однако фактически процессуальная форма установлена только для письменных обращений. Естественно, что в зависимости от содержания и характера обращения требования к его форме могут различаться, однако общим для всех письменных обращений являются адресат, наименование обратившегося лица, адрес для направления ответа, содержание (суть) обращения, личная подпись и дата.

Несоответствие обязательным требованиям к процессуальной форме обращения влечет его юридическую ничтожность и, как правило, не порождает никаких правовых последствий. Так, административные регламенты предоставления конкретных государственных услуг содержат типовое для большинства подобных актов требование о том, что «заявление к рассмотрению не принимается, если нарушены требования к его форме и содержанию» (например, п. 34 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации).

Можно сказать, что нормативный акт, устанавливая требования к форме волеизъявления, создает необходимые предпосылки для надлежащего рассмотрения обращения по существу, то есть соблюдение процессуальной формы для участников правоотношения является не самоцелью, а средством достижения общего блага. Вместе с тем усложнение по сравнению с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» процессуальной формы обращения не может быть произвольным. Оно должно быть обусловлено целью волеизъявления, а именно тем субъективным благом, которое запрашивает гражданин. Исходя из конституционно-правового смысла ст. 33 Конституции РФ, устанавливаемые дополнительные требования к содержанию и форме обращения не могут быть избыточными и не должны создавать искусственных препятствий к его подаче.

4. Адресат обращения – это субъект права, уполномоченный принять и рассмотреть обращение по существу. Им потенциально может быть любой субъект права, предусмотренный законом. Традиционными адресатами выступают государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица (вне зависимости от принадлежности к ветви власти и наличия властных полномочий).

В настоящий момент к новым (не традиционным) адресатам обращений относятся государственные и муниципальные учреждения, а также организации, осуществляющие публично значимые функции. Вместе с тем законодатель не предложил каких-либо критериев характеристики организаций как осуществляющих публично значимые функции, что послужило предметом отдельных научных изысканий [Савоськин 2014].

5. В содержательном плане ключевым элементом любого обращения является его цель, так как она определяет смысл и назначение волеизъявления. Цель – это объективно-предполагаемый результат, к достижению которого стремится индивид.

По мнению С.З. Женетль, «волеизъявление, как правило, детерминировано какими-то внешними обстоятельствами, содержащими для гражданина неблагоприятный или негативный оттенок. Даже в случае предложения об усовершенствовании чего-либо ясно проявляется неудовлетворенность субъекта текущим положением дел» [Женетль 2008: 69]. Думается, что такой вывод является не вполне корректным и отражает склонность автора рассматривать обращение в качестве способа защиты нарушенного права. На наш взгляд, категория волеизъявления вообще лишена какого-либо оценочного характера, а обращения, в первую очередь, являются способом реализации права, а уже во вторую – способом защиты.

Цели направления обращений всегда предопределяют его процессуальную форму и адресата. Так, ненадлежащим будет признано заявление гражданина в орган исполнительной власти о взыскании морального вреда (на основании Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»), так как подобного рода цель достижима только путем направления судебного иска (в соответствии с правилами ГПК РФ).

Целями граждан при направлении обращений могут быть реализация, предоставление, защита или восстановление прав, свобод и законных интересов самого гражданина или прав и свобод третьих лиц, непосредственно связанных с заявителем. Отсутствие цели лишает обращение смысла и не позволяет адресату отреагировать на него по существу.

Цель – это дополнительный критерий для разграничения обращений граждан и волеизъявлений должностных лиц (спектр последних достаточно широк – от обращения Президента РФ к Федеральному Собранию РФ до обычного информационного письма, направляемого руководителем органа власти). Как уже было отмечено, целью направления обращения гражданином должна быть реализация его субъективных прав и свобод. Целью волеизъявлений должностных лиц является реализации их полномочий, то есть, фактически, обязанностей.

6. Следующим признаком является обязательность рассмотрения обращения, под которой понимается нормативно установленная и гарантированная государством обязанность адресата принять обращение, рассмотреть его и дать заявителю ответ на него. Такой ответ должен быть мотивированным, иными словами, помимо самого решения по поставленным в обращении вопросам содержать основание его принятия [Короткова 2011: 7].

Обязанность адресата принять обращение существует только в том случае, когда заявителем соблюдена обязательная процессуальная форма волеизъявления. В противном случае такое волеизъявление гражданина именоваться обращением не может, не подлежит рассмотрению и не порождает никаких правовых последствий ни для заявителя, ни для адресата. Исключения из этого правила редки, но они есть. Например, анонимное обращение, содержащее сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, не рассматривается (в виду нарушения его процессуальной формы – анонимности), но должно быть перенаправлено в государственный орган в соответствии с компетенцией данного органа (ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).

Обязанность принятия и рассмотрения обращения существует даже в том случае, когда заведомо известно об отрицательном ответе по существу волеизъявления. Обязательность принятия и рассмотрения обращения является внутренней гарантией реализации конституционного права на обращение, а получение заявителем письменного ответа дает ему реальную возможность дальнейшего административного или судебного обжалования в целях защиты свои прав.

В завершение хотелось бы отметить, что предложенные шесть признаков обращений граждан не только являются необходимыми и достаточными для описания исследуемого социально-правового явления, но и открывают новые возможности при изучении обращений граждан как юридической категории, а также позволяют заложить надежный методологический фундамент для дальнейшего совершенствования в Российской Федерации правового регулирования и практики рассмотрения обращений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Беляков П.А. 2014. Защита прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления // Законность. № 4. С. 11-16.

Даль В.И. 1978. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Рус. яз. Т. 1. 489 с.

Женетль С.З. 2008. Теоретический анализ основных положений Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Адм. право. № 4. С. 62-71.

Зорькин В.Д. 2011. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., пересмотр. М. : Норма. 662 с.

Короткова О.И. 2011. Признание ответов органов государственной власти и местного самоуправления на обращения граждан не соответствующими требованиям законодательства как толчок к необходимости реформирования правовой модели взаимоотношений государства и гражданина // Муницип. служба: правовые вопросы. № 4. С. 5-8.

Кравец И.А. 2012. Право на обращение граждан в органы местного самоуправления: конституционные основы, проблемы регулирования и реализации // Вестн. Новосибир. гос. ун-та. Сер. Право. № 2. С. 33-47.

Лаптев П.А. 1999. О правосубъектности индивида в свете международно-правовой защиты прав человека // Журнал рос. права. № 2. С. 31-34.

Матузов Н.И. 1972. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов. 292 с.

Мещерягина В.А. 2015. Юридическая природа конституционного права на обращение как субъективного права // Актуал. проблемы рос. права. № 10. С. 64-69.

Нилов Д.Г. 2010. Обращения граждан: понятие и виды // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. № 3. С. 12-18.

Ожегов С.И. 1989. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М. : Рус. яз. 1132 с.

Ольшевская О.В. 2013. Правовые аспекты рассмотрения обращений граждан органами внутренних дел // Правовая идея. № 2. С. 5-11.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 2006. Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-М. 891 с.

Савоськин А.В. 2014. Проблемы реализации новых пределов действия Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» // Юрид. мир. № 7 (211). С. 13-17.

Смушкин А.Б. 2011. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (постатейный) [Электронный ресурс]. 2-е изд., перераб. и доп. URL: <http://base.garant.ru/55077343/> (дата обращения: 14.12.2016).

Тюрина С.Ю., Борисов Н.И. 2012. Обращения граждан как инструмент повышения эффективности взаимодействия населения и власти: нормативно-правовое регулирование и практика // Адм. и муницип. право. № 10. С. 12-19.

Черкесов К.А. 2010. Конституционное право на обращение в органы публичной власти в государствах-членах СНГ и странах Балтии: сравнительно-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. М. 188 с.

Широбоков С.А. 1999. Конституционное право человека и гражданина на обращение : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Екатеринбург. 164 с.

Широбоков С.А. 2015. Универсальность конституционного права на обращение // Черные дыры в российском законодательстве. № 3. С. 6-9.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с изм.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.

Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обращении лекарственных средств» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2010. № 16. Ст. 1815.

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19. Ст. 2307.

Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утв. Приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 10.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (ред. от 02.02.1988) // Свод законов СССР. 1996. Т. 1. С. 373.

Закон Туркменистана от 14 января 1999 года № 342-I «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения» [Электронный ресурс]. URL: <http://ngo-turkmenistan.org/library/legislation/laws/zakon-turkmenistana-ob-obrashcheniyah-grajdan-i-poryadke-ih-rassmotreniya> (дата обращения: 14.12.2016).

Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года №1064-XII «Об обращениях граждан» // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1994. № 5. Ст. 140.



A. Savoskin. «Obrashcheniya grazhdan» kak pravovaya kategoriya [Citizen's appeal as legal category], *Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk*, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 85-99. (in Russ.).

Alexander V. Savoskin, Candidate of Law, Associate Professor, Judge Advisor, Charter Court of Sverdlovsk region, Ekaterinburg. E-mail: savoskinav@yandex.ru

Article received 23.01.2017, accepted 24.02.2017, available online 01.10.2017

CITIZEN'S APPEAL AS LEGAL CATEGORY

Abstract. Article 33 of Constitution of the Russian Federation provides the right of citizens to address state authorities and local self-governments. However, the Federal Law “On the order of consideration of appeals of citizens of the Russian Federation” contains the statutory definition of the term “appeal”, but it is limited to the enumeration of its varieties; in the best, it points to the destination but does not reflect the features of appeal as legal and factual category.

The article presents the lexical and legal study of the term “appeal”, as well as the analysis of the practice of its application in the legislation. The author concludes that the term “appeal” should be used only in close conjunction with the additional term clarifying its content. Based on the works of other researchers, international experience and regulations, the author formulates the following definition of the term “citizen's appeal”: it is the will of the individual (groups of individuals, or associations); it is the subject of mandatory review; it corresponds to regulatory-established rules; it is expressed in the form of written, oral or tacit demands of implementation of rights, freedoms and legitimate interests; it is addressed to the state authorities, local government body or organization carrying a significant public function, as well as to their officials.

Thus, the features of the appeal are: 1) mandatory review; 2) particular subject of the will; 3) action as objective side; 4) special procedural form; 5) purpose; and 6) destination. These six characteristics are necessary and sufficient; the proposed definition not only describes citizen's appeal from factual and legal points of view, but allows to distinguish it from other related categories.

The definition reflects the recent changes in legislation regarding the change of the subject composition (by including citizens' associations), and the destination (due to including state [municipal] institutions and organizations implementing publicly important functions into the law on appeals).

Keywords: citizen appeal; concept of appeals; applicant; legislation of appeals; destination of appeal; purpose of appeal.

References

Administrativnyy reglament predostavleniya Federal'noy migratsionnoy sluzhboy gosudarstvennoy uslugi po vydache inostrannym grazhdanam i litsam bez grazhdanstva razresheniya na vremennoe prozhivanie v Rossiyskoy Federatsii, utv. Priказom FMS Rossii ot 22.04.2013 № 214 [Administrative Regulation of the Federal Migration Service of the state service of issuing foreign citizens and stateless persons temporary residence permit in the Russian Federation, approved. FMS of Russia Order from 22.04.2013 number 214], *Byulleten' normativnykh aktov federal'nykh organov ispolnitel'noy vlasti*, 2014, no. 10. (in Russ.).

Belyakov P.A. *Zashchita prav grazhdan na obrashchenie v gosudarstvennye organy i organy mestnogo samoupravleniya* [Protecting the rights of citizens to appeal to the state bodies and local self-government], *Zakonnost'*, 2014, no. 4, pp. 11-16. (in Russ.).

Cherkesov K.A. *Konstitutsionnoe pravo na obrashchenie v organy publichnoy vlasti v gosudarstvakh-chlenakh SNG i stranakh Baltii: sravnitel'no-pravovoe issledovanie* [The constitutional right to petition the public authorities in the member states of the CIS and the Baltic States: comparative law research: dissertation], Moscow, 2010, 188 p. (in Russ.).

Dal' V.I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of Russian language], Moscow, Rus. yaz., 1978, vol. 1, 489 p. (in Russ.).

Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 21 iyulya 1994 goda № 1-FKZ (red. ot 28.12.2016) «O Konstitutsionnom Sude Rossiyskoy Federatsii» [The federal constitutional law from 7.21.1994 number 1-FKZ (ed. from 12.28.2016) "On the Constitutional Court of the Russian Federation"], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 1994, no. 13, art. 1447. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 12 aprelya 2010 goda № 61-FZ (red. ot 03.07.2016) «Ob obrashchenii lekarstvennykh sredstv» [Federal Law from 12.04.2010 number 61-FZ (ed. from 03.07.2016) "On Circulation of Medicines"], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2010, no. 16, art. 1815. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 25 iyulya 2002 goda № 115-FZ (red. ot 03.07.2016) «O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v Rossiyskoy Federatsii» [The Federal Law from 25.07.2002 number 115-FZ (ed. from 03.07.2016) "On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation"], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2002, no. 30, art. 3032. (in Russ.).

Federal'nyy zakon ot 7 maya 2013 goda № 80-FZ «O vnesenii izmeneniy v stat'yu 5.59 Kodeksa Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyyakh i stat'i 1 i 2 Federal'nogo zakona "O poryadke rassmotreniya obrashcheniy grazhdan Rossiyskoy Federatsii"» [Federal Law from 05.07.2013 number 80-FZ «On Amendments to Article 5.59

of the Code of Administrative Offences and articles 1 and 2 of the Federal Law On the order "Of consideration of appeals of the Russian Federation"», *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2013, no. 19, art. 2307. (in Russ.).

Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast' pervaya) ot 30 noyabrya 1994 goda № 51-FZ (red. ot 28.12.2016) [The Civil Code (part one) from 30.11.1994 number 51-FZ (ed. from 28.12.2016)], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 1994, no. 32, art. 3301. (in Russ.).

Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 goda) (s izm.) [The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 12/12/1993) (amend.)], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2014, no. 31, art. 4398. (in Russ.).

Korotkova O.I. *Priznanie otvetov organov gosudarstvennoy vlasti i mestnogo samoupravleniya na obrashcheniya grazhdan ne sootvetstvuyushchimi trebovaniyam zakonodatel'stva kak tolchok k neobkhodimosti reformirovaniya pravovoy modeli vzaimootnosheniy gosudarstva i grazhdanina* [Recognition of the responses of the state and local authorities on the treatment of citizens is not relevant requirements of the legislation as an impetus to the need to reform the legal model of relations between the state and the citizen], *Munitsip. sluzhba: pravovye voprosy*, 2011, no. 4, pp. 5-8. (in Russ.).

Kravets I.A. *Pravo na obrashchenie grazhdan v organy mestnogo samoupravleniya: konstitutsionnye osnovy, problemy regulirovaniya i realizatsii* [The right of citizens to appeal to the local authorities: the constitutional framework, the problem of regulation and implementation], *Vestn. Novosibir. gos. un-ta. Ser. Pravo*, 2012, no. 2, pp. 33-47. (in Russ.).

Laptev P.A. *O pravosub»ektnosti individa v svete mezhdunarodno-pravovoy zashchity prav cheloveka* [On the personality of the individual in the light of international legal protection of human rights], *Zhurnal ros. prava*, 1999, no. 2, pp. 31-34. (in Russ.).

Matuzov N.I. *Lichnost'. Prava. Demokratiya. Teoreticheskie problemy sub»ektivnogo prava* [Personality. Rights. Democracy. Theoretical problems of the subjective right], Saratov, 1972, 292 p. (in Russ.).

Meshcheryagina V.A. *Yuridicheskaya priroda konstitutsionnogo prava na obrashchenie kak sub»ektivnogo prava* [Legal nature of the constitutional right to appeal as a subjective right], *Aktual. problemy ros. prava*, 2015, no. 10, pp. 64-69. (in Russ.).

Nalogovyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 5 avgusta 2000 goda № 117-FZ (red. ot 28.12.2016) [The Tax Code of the Russian Federation from 05.08.2000 number 117-FZ (ed. from 12.28.2016)], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2000, no. 32, art. 3340. (in Russ.).

Nilov D.G. *Obrashcheniya grazhdan: ponyatie i vidy* [Treatment of citizens: the concept and types], *Problemy ukrepleniya zakonnosti i pravoporyadka: nauka, praktika, tendentsii*, 2010, no. 3, pp. 12-18. (in Russ.).

Ol'shevskaya O.V. *Pravovye aspekty rassmotreniya obrashcheniy grazhdan organami vnutrennikh del* [Legal aspects of consideration of citizens law-enforcement bodies], *Pravovaya ideya*, 2013, no. 2, pp. 5-11. (in Russ.).

Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo yazyka* [Russian dictionary], 20 nd ed., ster., Moscow, Rus. yaz., 1989, 1132 p. (in Russ.).

Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. *Sovremennyy ekonomicheskyy slovar'* [Modern Dictionary of Economics], Moscow, INFRA-M, 2006, 891 p. (in Russ.).

Savos'kin A.V. *Problemy realizatsii novykh predelov deystviya Federal'nogo zakona «O poryadke rassmotreniya obrashcheniy grazhdan RF»* [Problems of implementation of the new limits of the federal law «On the order of consideration of citizens of the Russian Federation»], *Yurid. mir*, 2014, no. 7 (211), pp. 13-17. (in Russ.).

Shirobokov S.A. *Konstitutsionnoe pravo cheloveka i grazhdanina na obrashchenie* [The constitutional right of man and citizen to appeal: dissertation], Ekaterinburg, 1999, 164 s. (in Russ.).

Shirobokov S.A. *Universal'nost' konstitutsionnogo prava na obrashchenie* [The versatility of the constitutional right to appeal], *Chernye dyry v rossiyskom zakonodatel'stve*, 2015, no. 3, pp. 6–9. (in Russ.).

Smushkin A.B. *Kommentariy k Federal'nomu zakonu ot 2 maya 2006 g. № 59-FZ «O poryadke rassmotreniya obrashcheniy grazhdan Rossiyskoy Federatsii» (postateynny)* [Commentary to the Federal Law of May 2, 2006 № 59-FZ “On the order of consideration of citizens of the Russian Federation” (itemized)], 2 nd ed., rev. and aygm., 2011, available at: <http://base.garant.ru/55077343/> (accessed December 14 2016). (in Russ.).

Tyurina S.Yu., Borisov N.I. *Obrashcheniya grazhdan kak instrument povysheniya effektivnosti vzaimodeystviya naseleniya i vlasti: normativno-pravovoe regulirovanie i praktika* [Citizens appeals as a tool to improve the efficiency of interaction of population and authorities: legal regulation and practice], *Adm. i munitsip. pravo*, 2012, no. 10, pp. 12–19. (in Russ.).

Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18 dekabrya 2001 goda № 174-FZ (red. ot 23.06.2016) [Criminal Procedure Code of the Russian Federation from 18.12.2001 number 174-FZ (ed. from 23.06.2016)], *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii*, 2001, no. 52, pt. 1, art. 4921. (in Russ.).

Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR ot 12 aprelya 1968 goda № 2534-VII «O poryadke rassmotreniya predlozheniy, zayavleniy i zhalob grazhdan» (red. ot 02.02.1988) [Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 12.4.1968 number 2534-VII “On the procedure for consideration of proposals, applications and complaints of citizens” (ed. of 02.02.1988)], *Svod zakonov SSSR*, 1996, vol. 1, pp. 373. (in Russ.).

Zakon Respubliki Uzbekistan ot 6 maya 1994 goda № 1064-XII «Ob obrashcheniyakh grazhdan» [Law of the Republic of Uzbekistan from 6.05.1994 number 1064-XII “On Appeals of Citizens”], *Vedomosti Verkhovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan*, 1994, no. 5, art. 140. (in Uzbek.).

Zakon Turkmenistana ot 14 yanvarya 1999 goda № 342-I «Ob obrashcheniyakh grazhdan i poryadke ikh rassmotreniya» [The Law of Turkmenistan from 14.01.1999 number 342-I “On Appeals of Citizens and the order of their consideration”], available at: <http://ngo-turkmenistan.org/library/legislation/laws/zakon-turkmenistana-ob-obrashcheniyah-grajdan-i-poryadke-ih-rassmotreniya> (accessed December 14 2016). (in Russ.).

Zhenetl' S.Z. *Teoreticheskiy analiz osnovnykh polozheniy Federal'nogo zakona «O poryadke rassmotreniya obrashcheniy grazhdan Rossiyskoy Federatsii»* [Theoretical analysis of the main provisions of the Federal Law “On the order of consideration of applications of citizens of the Russian Federation”], *Adm. pravo*, 2008, no. 4, pp. 62–71. (in Russ.).

Zor'kin V.D. *Kommentariy k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii* [Commentary on the Constitution of the Russian Federation], 2nd ed., rev., Moscow, Norma, 2011, 662 p. (in Russ.).

Требования к авторам

1. Автор отправляет на редакционную почту admin@instlaw.uran.ru рукопись статьи в электронном варианте в формате .doc.

2. Статьи должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право. Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи представляются на русском языке.

3. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению, материалы не принимаются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

4. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование: имена автора и рецензентов не раскрываются друг другу. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии и международного редакционного совета, так и внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Срок рассмотрения статей – не более 2-х месяцев с момента поступления рукописи в редакцию.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена автору на доработку или отклонена. В случае принятия к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплекзует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

7. Рекомендуемый объем статьи – 30–60 тысяч знаков (с пробелами). Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. При использовании в тексте кавычек применяются типографский вариант («»). Тире обозначается символом «-» (среднее тире); дефис «-».

8. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

9. Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, занимаемая должность, место работы, электронная почта. В левом верхнем углу указывается код УДК.

После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее гипотезу, основные положения и выводы. Объем аннотации не менее 2000 знаков с пробелами. После аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–10).

10. Внутритекстовые ссылки оформляются в квадратных скобках, в которых указываются фамилия (фамилии) автора или составителя (главного или ответственного редактора), или основное заглавие (если авторство нельзя установить), далее через пробел указывается год издания, затем через двоеточие – страницы цитаты, либо статьи правового акта, на который ссылается автор. Например: [Булгаков 1994: 203-204].

11. Библиографический список представлен двумя блоками – Списком литературы по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и References.

В Списке литературы указываются научные источники, первоначально авторские работы на русском языке в алфавитном порядке, затем источники на иностранных языках. При наличии нескольких источников одного автора, вышедших в одном календарном году, данная группа записей располагается по алфавиту заглавий, а к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c, d, – что отражается и во внутритекстовых ссылках.

References – список литературы, где источники на кириллице даны в транслитерации и в переводе на английский язык (фамилия автора, название журнала, сборника – в транслитерации; заглавие монографии или статьи, место издания – в переводе), английские источники приводятся без изменений. Источники на иных языках также даются в переводе на английский язык. Весь массив записей располагается в алфавитном порядке.

Примечания, ссылки на Интернет, нормативно-правовые акты, статистические данные, газеты и иные данные публицистического характера оформляются в виде постраничных ссылок.

При ссылке на книги указывается количество страниц в книге. При ссылке на статью указывается диапазон страниц (например: С. 13-29).

12. К статье должны быть приложены переводы на английский язык: имени и фамилии автора; должности и места работы; контактной информации; названия статьи; аннотации и ключевых слов.

13. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары авторам не выплачиваются.

14. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к авторам и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

Manuscript conditions

1. Manuscript in doc. format should be sent to the editorial board's email admin@instlaw.uran.ru.

2. Manuscript submitted to the Journal should relate to Journal's subject areas, which include philosophy, political science and law.

3. Previously published papers are unacceptable.

Manuscripts should be submitted in Russian only.

4. If the paper doesn't comply with the subject-matter of the Journal or formal requirements it excludes from further consideration, the author is notified about it.

5. Every manuscript submitted to the Journal is a subject for double-blind review, which means that the identities of reviewers are concealed from the author, and vice versa. Reviewers are experts in the same subject area as the paper submitted. The paper is assigned for reviewing to experts, who are members of the editorial board or the international editorial council, as well as to independent experts. If the first reviewer accepts the paper, while the second reviewer rejects it, the paper will be passed for evaluation to the third reviewer or the decision on acceptance or rejection will be made by the editorial board itself. The procedure for review and approval of papers takes no more than two months.

After reviewing the article may be accepted for publication, sent to the author for revision or rejected. If accepted for publication the paper is placed in the portfolio of editorial board for further publication.

6. The editorial board retains reviews during 5 years. If needed, the editorial board sends reviews or notes of reasoned refusal to the authors. If requested, the editorial board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation.

7. The Journal normally publishes papers between 30000 and 60000 characters in length (with spaces). The texts should be typed using Times New Roman, font size 14, 1.5 spaced, justified alignment, 1 cm. paragraph indention, 3 cm. left margin, 1,5 cm. right margin, 2 cm. top and foot margins. French quotation marks «», dash «-», hyphen « - » should be used in the text.

8. Illustrations, diagrams and tables should be numbered and named. Illustrations, diagrams and tables should be both placed within the text of the manuscript and provided in a separate file.

9. Titles of papers should be centered, capitalized, semi-bold and typed using Times New Roman, font size 14. The author's personal data (full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail) should be placed in the top-right corner above the title of the manuscript. UDC, if possible, should be placed in the top-left corner of the manuscript.

The abstract should be placed below the paper's title and be no less than 2 000 characters (with spaces). It should summarize the hypothesis and key results presented in the paper. From 5 to 10 keywords are also required.

10. References should be placed within the text in square brackets []. In-text references should include the author's last name or the editor's last name, or the title of the source (for sources with no author named), as well as the year of publication and page reference (or article of the normative legal act). Example: [Jameson 2009: 167].

11. After-text bibliography includes the List of sources and References. the List of sources and references should correspond to the requirements of GOST 0.5–2008 «Bibliograficheskaja ssylka. Obshhie trebovanija i pravila sostavlenija».

The List of sources should be composed alphabetically. It should be organized in the following order: sources in Russian (books and articles); sources in foreign languages (books and articles). If there are two or more sources by the same author in the same year, lower-case letters (a, b, c, d) with the year should be used. The lower-case letters with the year should be added to the in-text references as well.

References is the List of sources which should be transliterated and translated into English (author's last name, title of the journal or collection should be transliterated; title of the monograph or article, and the place of publication should be translated into English). Titles in other languages should be translated into English as well. List of References should be alphabetized.

Notes, citations to the Internet sources, legal normative acts, statistical data and newspapers should be placed in the footnotes.

Description of books and articles listed in after-text bibliography should contain number of pages, while description of articles should contain page ranges. Example: P. 13-29.

12. The author should also submit a separate file containing the following information in English: full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail, as well as title of the paper, abstract and keywords.

13. Publication of accepted papers is free of charge. Honorarium is not paid to the author.

14. In addition to the manuscript, the author provides written consent to display published paper in the electronic databases, as well as written consent to make public his/her personal data.

More detailed information for authors as well as samples of papers, abstracts et al. are provided at the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

**НАУЧНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Том 17

Выпуск 3

*Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института философии и права
Уральского отделения РАН*

Ответственные за выпуск
В.С. Мартьянов, В.В. Эмих

Редактор *Н.М. Юркова*
Корректоры *А.И. Никонова, Е.М. Олову*
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовский*
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РА4»*

Подписано в печать 20.10.2017 г. Формат 70x100/16
Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 7,2 Уч.-изд. л. 6,8
Тираж 500 экз. Заказ №

Институт философии и права УрО РАН.
620990. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134